



Елена Крюкова

Золото

«Автор»

2000

Крюкова Е. Н.

Золото / Е. Н. Крюкова — «Автор», 2000

На раскопках греческого поселения в Тамани сделано удивительное открытие. Оно обещает вписать новую страницу в историю Древнего мира. Сначала археологи находят меч, потом – золотую царскую маску. Но вслед за тем на маленький лагерь археологов, мирно работающих на берегу моря в раскопе, обрушивается лавина несчастий. Начальник экспедиции, Роман Задорожный, принимает решение остаться в Тамани и продолжить работу. Он догадывается, кто следит за его археологами. Он вспоминает свою недавнюю поездку в Турцию, в Измир. Якобы случайная встреча в поезде – попутчица, гречанка Хрисула, милая беседа, мимолетное влечение к красивой девушке, на запястье которой – драгоценный браслет немыслимой древности. Профессор Задорожный «клюет» на приманку и следует за девушкой – как она говорит, в ее дом. На деле он попадает в логово бандитов, где в шайке – турки, русские и кавказцы; они ставят Задорожному условие – подробно, с научной точки зрения, описать драгоценные предметы неизвестной эпохи, лежащие в сундуке в темной камере... Роман чудом вырывается из лап археологических мафиози... А в Москве – в закрытом особняке – закрытый показ сенсационных древних кладов. Приглашены только избранные. Афишируются возможные цены аукционных продаж. Слепая жена Магната Козаченко, Жизель, ощупывает пальцами золотую маску царя – она нравится ей. Ее карлик Стенька, вцепившись в ее подол, не отрывает глаз от госпожи. В экспедиции продолжают исчезать и умирать люди. Кто убивает мирных археологов? Что за цивилизацию раскопали около Измира, в турецкой Анатолии, и в русской Тамани? Кому принадлежат золотые маски мужчины и женщины – царя и царицы? Наступает день – и дверь палатки Задорожного распахивается, и на ее пороге – тот, кто держал в страхе исследователей Древнего мира...

© Крюкова Е. Н., 2000

© Автор, 2000

Содержание

ПРОЛОГ	6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МЕРТВАЯ ТРОЯ	11
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Елена Крюкова

Золото

*"И в руках у меня сокрушается меч, и напрасно
Вылетел дрот из десницы моей: не могу поразить
я!"*

Гомер, «Илиада», песнь третья, стих 365

ПРОЛОГ

Кромешную тьму разорвало красно-золотое полыханье огня. Древко чадающего факела было зажато в юной и нежной, но крепкой руке. Пламя выхватывало из тьмы сверкающие глаза, закругление щеки, прядь русокудрых волос, летящую на сквозняке. Девушка, держащая горящий факел, – за ней, след в след, медленно шла белая, с черными пятнами, большая собака с тонким, загнутым крючком хвостом, – медленно подошла к гробнице. Продолжая держать факел, встала на колени. Наклонила голову. Ее подбородок коснулся ее груди, высоко вздымающейся под тканью короткой туники.

Так стоя, она вышептала одними губами молитву. Пламя нервно, порывисто рвало мрак над ее головой. Она выпрямилась, поискала глазами, куда бы воткнуть факел. Нашла углубление в каменных плитах пола, выложенное бронзой. Вставила туда древко. Теперь руки ее были свободны. И она подняла их, и, снова упав на колени, прижалась лицом, лбом и руками, воздетыми, как в причитаньях мистерий, к золотому рельефу огромной гробницы.

– Всемогущие боги, – сдавленно воскликнула она, – боги!.. Если он умер навсегда и не воскреснет более, ни в этом мире, ни в обиталищах блаженных, сделайте так, чтобы я могла уйти вслед за ним без боли, по золотой нити счастья... и я возьму с собой в дорогу, в долгий путь то, что он так любил, в чем я являлась перед ним, в чем танцевала... что он дарил мне, разбрасывая передо мной по земле, сыпля мне на колени... из чего мы вдвоем пили вино... испили мы наш волшебный напиток, боги, и мы опьянены друг другом так, что и в смерти нашей...

Она не договорила. Пламя бешено рвалось, освещая качающуюся золотую массивную серьгу у нее в нежно-розовой мочке уха; она повернула лицо, прижимаясь смуглой щекой к холодному золоту гробницы, и ее губы и подбородок коснулись как раз того фрагмента рельефа, сработанного искусным мастером, где воин и царь, сжимая в руке меч, направлял его прямо в сердце разъяренному врагу. Кованое золото отсвечивало темным медом. Казалось, оно само излучало свет, само было застывшим пламенем, холодным огнем, куда девушка, плача, окунала лицо, руки, губы.

– Царь мой! – Голос ее зашелся в рыданье. – Как я любила тебя! Я не смогу на земле без тебя. Нет такого запрета, который я не переступила бы из-за тебя. И теперь мне никто не запретит соединиться с тобой. Жрецы приносят в жертву множество зверей и людей; и черное Солнце с неба глядит на кровь, что льется, и плачет пустыми глазницами. Лишь на острове Кеосе разрешено добровольно уходить из жизни, да и то по достижении большого возраста. Жить на земле, есть, пить, стариться... без тебя?!..

Ее нагая спина в вырезе туники дрогнула. Она зарыдала, прижавшись всем телом к гробнице, целуя золотую фигуру, как живого человека. Безмолвие было ей ответом.

За спиной девушки послышалось шуршанье сандалий по камням. Собака зарычала. Она, не поднимаясь с колен, обернулась. Прижала палец к губам.

– Ты, Дарак?.. тише... Я усыпила сторожей. Они не должны видеть, как жена уходит вслед за мужем.

– Ты ему не жена, – еле слышно донеслось из мрака. Голос хриплый, тусклый. Говорил мужчина. – Но воля твоя.

– Я ему больше чем жена. Дарак, возьми ковчег, что мы принесли с тобой, тот, что стоит у входа в усыпальницу, и поднеси сюда. Я хочу, чтобы мой царь поглядел, какая нарядная я приду к нему, как я помню о нем, о его драгоценностях, о кубках, из которых он пил вино фалернское, дамасское и иберийское. Я помню все. Я хочу последнего, яркого счастья.

Не выходящий из мрака глухо сказал:

– Может быть, ты передумашь, Селена?.. мир так богат, так вкусен... так ярко в нем все, и каждый день мы живем как последний... Может быть, ты изменишь решение?..

Девушка одним легким движеньем встала с колен. Стоявший во мраке мог рассмотреть ее всю.

– Нет, не изменю. Я ухожу вслед за моим царем.

Она стояла в безумствующем факельном свете, и тени ходили по ее голым рукам и ногам. Она была стройна и молода – не старше двадцати. Длинные русые, чуть выющиеся волосы жидким золотом лились вдоль ее смуглых щек, по плечам. Глаза были черно-зелены, непроглядны и мерцали, как две звезды над морем. Рот был полуоткрыт, и зубы блестели. Стоявший во тьме не сводил глаз с ее обнаженных ног. Короткая туника не закрывала великолепие коленей, выпуклые золотые пластины бедер. Какое сумасшествие, пронеслась в голове его птица безумья, какое сладкое святотатство. Он овладеет ею тут же, здесь, у гробницы царя, ведь все равно он через минуту-другую выхватит из-за пояса короткий тяжелый меч, и по ее приказу...

– Не вздумай делать непотребное, Дарак. Я разгадала твои мысли. Ламид жестоко покарает тебя, если ты поднимешь на меня руку.

– Но, госпожа...

– Принеси ковчег!

Металл, зазвеневший в ее вскрике, пронзил его не хуже железных копий ахейцев. Стоявший во тьме удалился, и Селена слышала лишь шелест шагов по каменным плитам. Она погладила собаку, поднявшую умную морду к ней, по гладкой голове. Минуту спустя посланный вернулся. Черные руки протянулись из тьмы на свет, поставили к ногам Селены длинный и тяжелый ковчег. Она наклонилась и откинула бронзовую крышку. Пламя рванулось, и изнутри ковчег ударили мощные, слепящие лучи.

Стоявший во тьме вздохнул. Слишком тяжка на земле была ноша драгоценная.

Нет драгоценней под Луну ю живого человека и любимого, нет...

– Помоги мне.

Холодный, повелительный голос. Хоть она и не успела стать царицей, а была всего лишь наложницей, она имела царскую статью и царские повадки. Презренная рабыня, дочь торговли с Нижнего рынка в Эфесе...

– Изволь, Селена.

Он приблизился. Его черные руки скользнули по ней, надевая ей на талию золотой пояс с застежкой из камня Офир. Его черное масляное лицо приблизилось к лицу Селены, бросив тень на пылающую щеку.

– Надень перисцелиды!

Он опустился на колени. Маленькие золотые ножные браслеты защелкнулись на щиколотках. Селена склонилась и вытащила из ковчег тягелую золотую диадему с искусно вставленными в массивные золотые узоры красными африканскими рубинами и квадратно ограненными египетскими изумрудами. Ее губы прошептали:

– Мой царский венец...

Черные руки, грубые пальцы услужливо подхватили, опустили диадему на буйство русых волос. Черный раб, усмехнувшись, вытащил из-за пазухи черное обсидиановое круглое зеркальце, поднес к ее лицу.

– Ты хороша, госпожа, как сама Эос... Все, что в ковчеге – кубки, кувшины, щиты, копья, светильники, мечи – туда, ему, в саркофаг?.. И твою маску... тоже?..

– Ты понятлив и смыслен, Дарак. Я не разрешу тебе положить туда его щит и его меч. Я это сделаю сама. Откинь крышку!

Черный раб послушно нажал могучим плечом на тяжелую мраморную плиту, обитую золотом. Сдвинул с места. Подхватил на руки и осторожно опустил на пол. Тонкий аромат разлился по усыпальнице. Жители Анатолии знали секрет захоронения своих вождей, чтобы тела оставались нетленными долго и источали благовонья, наподобие священных курений. Царь Ламид лежал в саркофаге как живой. Руки были сложены на груди, закованной в золотые латы. На лице царя стыла старым засахаренным медом золотая маска. Как он был красив, золотой, суроволицый, с плотным прикусом тонких губ, с высоким светящимся золотым лбом. Мастера спрашивали – сделать ли зрячими, цветными глаза, вставить ли в глазницы радужки из нильского лазурита, из нубийского сапфира. Она запретила. Слепые золотые веки прикрывали тайну их любви, глаза, летящие навывлет, как копья в бою. Ее маска так же красива, и она себя в ней узнала. Великий мастер, спасибо тебе; она гляделась в выгибы золота, как в зеркало. Вон она, маска, валяется в ковчеге рядом со щитом Ламида. Селена наклонилась и вынула из ковчеге огромный щит, сверкнувший темным, как львиная шкура, выпачканная в крови, красным золотом. По ободу щита бежали выкованные фигуры. Боги?.. Человеки?.. Воины в пылу битвы... Однажды царь взял ее в сражение. О, как он не хотел этого делать! Она упростила... Она скакала рядом с ним на вороной кобылице – она, золото-волосая, бешено смеющаяся, испускающая победные кличи, величественная в своей ярости – даже бывалые воины испугались ее воинственной мощи, когда она скакала рядом с Ламидом, кричали ей: «Амазонка!..» Она погладила выпуклые фигуры на щите. Сколько раз защищал ты, кусок железа, своего хозяина в боях. Защити его от гнева богов, когда он выйдет на поля сражений там, между звезд, в обители блаженных.

Селена положила щит царю на грудь. Наклонилась и вынула из ковчеге меч. Обернулась к черному рабу.

Меч лежал на ее руках, как младенец. Его пелены были – золотые ножны, изукрашенные аквамаринами, перлами и мелкими изумрудами-кабошонами. На рукояти была вычеканена женищина верхом на льве. В зубах льва горел крупный рубин.

– Вот этим мечом ты убьешь меня, – просто сказала она.

«Его мечом», – прошептали черные толстые, вывернутые губы.

– Я не смогу тебя убить, госпожа. Не смогу.

Синие негрские белки блестели в клубящейся тьме. Кровавые рубины на диадеме Селены сверкали нестерпимо.

Глаза и глаза встретились.

– Почему?!..

– Потому что я...

Раб сглотнул слюну. Ему запрещалось, и он преступил запрет.

– ...люблю тебя.

Девушка отшатнулась. Видно было: меч тянет ей руки.

– Это только в твоём сердце живет, Дарак. Не в моем. Бери меч! Ты воин. Ты разишь без промаха. Думаю, что ты ударишь меня прямо в сердце. Бей под ребро, древним хеттским ударом. У нас в Анатолии...

Он бросился к ней и закрыл ей рот черной рукой. Она отпрянула от него. Вырвалась из рук, уже цепко схвативших ее. Отбежала в сторону от гробницы, по ступеням.

– Не хочешь ты – так я сама!

Черный раб дышал тяжело, часто. С высоты своего роста он глядел на Селену нежно, испуганно, жалеючи.

– Не надо. Положи меч. Я... сделаю это... ради тебя.

Она села на корточки. Положила меч у своих босых ног. Погладила ножны. Встала, и перисцелиды тоненько зазвенели.

– Прости, великий мир, и вы, боги, царящие в нем, – громко сказала она, повернувшись к лежащему в саркофаге, – и здравствуй, сужденный мне, светлый...

Какое прекрасное у тебя лицо и по смерти, возлюбленный мой. Ты прекрасен, ты счастлив. Как я счастлива тобою была на земле, так я счастлива буду с тобою в небесных объятьях. Люди созданы богами, чтобы любить друг друга или убивать друг друга. Другого не дано. Я люблю тебя. Я убью себя. Я приду к тебе. Мы полетим между светил.

Черный раб подхватил ковчег, натужась, приподнял его и высыпал в саркофаг царя все драгоценности, принадлежавшие Селене, любимой царской наложнице, купленной рабыне, девочке с Нижнего рынка в Эфесе. Золотая маска Селены зазвенела, падая на цепи, браслеты, ожерелья, нагрудники, повернулась перевернутым лицом, и золотые губы усмехнулись. Верно ли я делаю, госпожа?.. Все верно, верно. Я так хотела. Все мое уйдет со мной. Она погрузила руки в россыпи огней, зовущиеся дорогими камнями. Камни, живые, горящие, глядели на нее тысячьоу глаз. Как она любила их! Ведь он их ей дарил. Он дарил ей себя, и это был величайший подарок. Он дарил ей свою жизнь.

Пора. Она вынула руки из моря цветных сполохов. Она стояла против Дарака, и одна грудь выскользнула у нее из-под легкой ткани туники, и сосок торчал темным маленьким фиником, но черный раб уже не замечал ничего. Он видел только – горят женские глаза, живые и бесстрашные, и смерть мужчина сжимает, тяжелую и обоюдоострую, в своем черном кулаке.

– Я простила с земным. Можешь бить. Изловчись и ударь прямо в сердце.

Он с ужасом глядел на вздымающуюся нежную грудь. Смуглоту и розовость, солнечную медь загара испещряли тени, как письмена. Факел горел и чадил. Девушка смотрела на него. Он много людей убил в жизни, а еще больше зверей, и птиц ему приходилось стрелять, и гадам головы разбивать камнем; змею в ливийской пустыне он разбивал голову камнем, и змей глядел на него, как человек. Но эта девушка!.. Эта...

– Я не могу.

Она шагнула к нему. Улыбнулась.

– Дай я тебя обниму. Вот так. И ты воткнешь меч свой мне под ребро легко – тебе не надо будет применять силу... Дарак, верный мой!..

Она обняла его обеими руками за шею. Он обнял ее одной рукой. Другой рукой он держал меч царя – меч был уже обнажен, ножны, сброшенные, валялись у его ног. Он закрыл глаза. Она тоже. Его дыханье превратилось в хрип.

– Боги мои...

– Бей!

– Поцелуй меня...

Она приблизила губы к его губам, пахнувшим солью и йодом, как морская трава, и тогда он ударил. Коротко, резко – снизу вверх. Он услышал легкий, тихий хруст раздираемой сталью плоти. Собака рванулась к нему, напавшему на господу, зарычала, вцепилась ему в ногу – он не чувствовал боли. Ему на черный живот, чуть укрытый вышитой бронзовой нитью перевязью, хлынула ее теплая кровь. Он открыл глаза и увидел, как Солнце всходит на ее лицо, озаряя его изнутри. Он увидел ее счастливую улыбку.

– Спасибо тебе, Дарак, ты храбрый воин, – услышал он прерывистый шепот, сжимая ее, умирающую, в объятьях. – Положи меня... рядом с ним... и меч... и меч между нами...

Он подхватил ее, обливающуюся темной кровью, на руки, положил рядом со спящим царем. Так, чтобы ее голова покоилась у него на плече, а рука лежала у него на груди. Так всегда спят возлюбленные. Так бы и он с ней спал, если бы... если...

Она захрипела, кровавый пузырь вздулся на ее губах. Потом последняя судорога изогнула ее тело, и она утихла. Еще минуту черный раб смотрел на обнявшихся, спящих вечным сном. Жилище блаженных отверсто им. А ему?!

Он поднял окровавленный меч. Взял обеими руками. Расширившимися глазами глядел на острие, повернутое к нему, к его горлу, к груди. Один миг. Это один миг, всего лишь. Не больше. Зато после – вот оно, блаженство. И ты уйдешь вслед за ними. Ты уйдешь вслед за ней, за Селеной. Ты понесешь между звезд ее царское покрывало, как не носил никогда здесь, на земле. Там ты не будешь ее рабом. Там ты сможешь взять ее на руки и нести целый век между звезд, и боги будут завидовать вам; и ты не посадишь ее на колени к царю Ламиду, ты посадишь ее на колени свои.

Одним ударом он вогнал себе меч туда, где, по исчислениям лекарей, находился желудок. Повернул лезвие так, чтобы разрезать, разрубить острую боль. Надо убить боль, тогда придет блаженство. Собака, сидевшая близ саркофага, подняв вверх морду, тоскливо, протяжно завывала. Он воткнул меч еще глубже, достав до важной точки жизни, потом выдернул с криком из себя. Не упал сразу. Зажав рану рукой, с мечом в руке шагнул к открытому саркофагу. Взял золотую маску Селены, закрыл ей маской лицо, погладил золотой холодный лоб. Последним усилием положил, уже ничего не видя от боли, заволокшей зрачки, окровавленный царский меч с золотой рукоятью, где была выкована смеющаяся девушка, сидящая верхом на диком льве, вцепившись зверю в гриву, туда, между телами, лежащими в радостном вечном объятии.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МЕРТВАЯ ТРОЯ

Он взял билет на тот самый поезд. На экспресс Стамбул – Измир.

А думал, что перепутал. Нет, все верно. Бежать, не опоздать. Сколько на вокзальных часах?... О, у него спешат, как всегда. Он торопится жить. Он гонит время, как встарь воины гнали плетью коня. Он знает цену времени. Ему ли не знать!

Настоящий археолог относится к жизни и смерти спокойно. Беспокойно он относится лишь к находкам. Находки – о, это способно взбудоражить душу, разрезать сердце пополам. Находки – это любовь. Ты ищешь любовь всю жизнь по белу свету – а она вот, рядом, под ногами, над головой. Это верно так же, как то, что он профессор Роман Игнатьевич Задорожный, доктор исторических наук, автор нашедших книг об археологических открытиях на плато Расвумчорр, в устье Амура и в Северной Индии. А теперь вот Малая Азия, Турция, древняя Анатолия. Он здесь недаром. Он здесь был когда-то, десять лет назад. Нашел древнейшее поселение в Анатолии. Да, шумиху они тогда подняли. В Измире ждет его его друг, английский археолог Келли. Старина Келли обнаружил в Богом забытом Измире, в лабиринтах узеньких восточных улочек... что?... Он едет узнать, что. Он согласен работать вместе с занудой Келли. Он – снова на древней земле Трои, и здесь может произойти все что угодно. Радость предчувствия открытия заставляла биться сердце, сушила, как жаркий ветер, губы. Археолог – это солдат. Ему – вечная битва. Он отнимает у времени драгоценности. Кладет их в вещмешок, в дорожный баул. Это потом их положат в сейфы; будут охотиться за ними с пистолетами, в черных масках; созерцать в музеях, на вернисажах и аукционах; выкладывать за них бешеные деньги. Солдат кладет находку в рюкзак и засыпает под смоковницей, приняв на грудь немного черного эфесского вина. Он всегда в пути. Солнце палит немилосердно.

А, вот и эти!.. турецкие лягушки, плохо по-английски квакают, он в сравнении с ними – просто оксфордец... Чиновники Стамбульского управления охраны древностей ринулись к Задорожному, поймав его уже на платформе.

– Простите нас, господин Задорожный!.. мы условились встретиться под часами, вы не дождались... Желаем вам провести время в Измире приятно... Когда вы возвращаетесь в Стамбул?..

У него был билет с открытой датой. Он пожал плечами. Солнце напекло ему высокий морщинистый лоб, загорелый до цвета темной меди, и на насупленные брови скатывались алмазинки пота.

– Не знаю, господа. Думаю, что через дня два-три. У меня там свиданье с... – Он не хотел говорить про Келли. У Кристофера Келли тоже было громкое, как и у него самого, имя. Они разыщут Келли в Измире, они не дадут им покоя. – ...с другом. Все выясню, что надо, и вернусь. Искупаюсь в заливе. Говорят, в Измире очень теплая вода. И какая-то особенно синяя. – Он улыбнулся, оглядел чиновников. – Вы не забыли, у нас еще должна быть встреча со студентами исторического факультета Стамбульского университета?..

Ученые лягушки, почтительно квакая, проводили его в вагон, помогли отыскать купе. Заботливо сунули в руки целлофановый, издававший оглушительный хруст жесткий пакет с инжиром, крученой вяленой дыней, россыпями кураги, кусочками орехового шербета. Лакомства Востока. Ароматы Востока. Он вдохнул в себя воздух. В купе пахло будто ладаном. Нет, это был не ладан. Возможно, терпкие арабские духи – недавно тут сидела молодая турчанка, крепко надушенная под чадрой; вышла из вагона; благоуханье осталось.

– О, мерси, я недостоин!.. вы очень внимательны...

– Ешьте, господин Задорожный, стамбульцы без инжира не живут... это у нас вместо американской жвачки...

Когда господа из Стамбульского управления охраны древностей вышли вон, постояв на перроне, отирая потные лбы и щеки, на прощанье помахав для приличия знаменитому Задорожному пухлыми руками и даже платочками, и он только вытянул ноги, чтобы расслабиться, отдохнуть и, быть может, вздремнуть – судя по всему, он поедет один, – как в купе, чуть скрипнув дверцей, вошла молодая женщина.

Девушка. Такая молоденькая. Темный пушок над верхней губой. Не турчанка – гречанка. Без паранджи. Тяжелый пучок иссиня-черных волос, заколотый шпильками низко под затылком, у самой гибкой шеи.

Она улыбнулась, мазнув по спутнику беглым, легким, незначащим взглядом. Села в свободное кресло у окна. Задорожный окинул ее глазами сразу всю. Точно, гречанка. Низко скошенный лоб, с горбинкой нос, глаза как черные сливы. Таких темноволосых смуглых красавиц много в приморских городах Турции. Он подумал о том, что вот славная девушка, и усмехнулся сам над собой. Он по-мужски остро всегда чувствовал красоту, опьянялся ею – хотя бы на миг. Вот и теперь. Сердце бьется так, будто хочет выскочить из ребер. Смешно, почтенный профессор. Седые волосы на висках. Прорези морщин у плотно сжатого рта. Девушка чуть повернула голову. Скосила глаза. От нее не укрылись ни юношеская поджарость дочерна загорелого седовласого попутчика, ни безуминка восторженного блеска в его глазах.

Дорожное приключение. Почему бы нет. Здесь, в Турции. Вдали от официозной Москвы. Если она заговорит по-турецки – он не будет за ней ухаживать. Он не знает языка. Если по-английски... «Никогда не загадывай ни на что, ни на облако, ни на яблоко, – говорила ему когда-то мать, – это предрассудки...»

– Простите, – сказала незнакомка с легким акцентом по-английски, – это ничего, что я сижу у окна?... я люблю смотреть, как мимо летит земля...

– Вы гречанка? – вырвалось у него. Глупо. Он понял, что краснеет. Авось сквозь загар не будет заметно.

Девушка улыбнулась снова – теперь открыто, белозубо, не стесняясь. Ямочки вспрыгнули ей на смугло-вишневые щеки. Она вытерла влажный висок ладонью.

– Хрисула, – она протянула ему руку. Он с изумленьем взял ее протянутую руку и поцеловал. Задержал в своей. Поезд плавно сдвинулся с места, застучал колесами, набирая ход.

– Профессор Задорожный.

Он продолжал держать смуглую нежную руку в своей. Черные, стрелами, брови девушки поползли вверх, глаза восхищенно округлились. Ее лицо ясно говорило о радости, об удивлении. Что за черт! Не может быть, чтоб он был так в Турции знаменит, как российский Президент!

Господи Боже, что это у нее на запястье. Что это...

– Господин Роман Задорожный?! – Как смешна в ее вишневых устах его хохлацкая фамилия. – У нас... вас многие знают... Это вы... это вы руководитель сенсационных раскопок в Западной Анатолии?... ну, тогда, десять лет назад... вся Турция гудела...

– Да, – кивнул он, по-прежнему не выпуская ее руку, – самое древнее поселение в этой части Азии. Десять тысяч лет назад люди здесь уже обжигали кирпичи, делали красивую посуду, лепили из глины богов и богинь... Вы богиня, Хрисула, – сказал он и засмеялся, сжимая ее руку. – У вас очень горячая рука. Вы можете обжечь.

Она, не выдергивая руку, смеющимися черными глазами глядела в его глаза.

– Я не богиня. Я простая смертная.

Он опустил взгляд. Браслет. Огромный, тяжелый, витой золотой браслет на хрупком смуглом запястье. Он не смог оторвать глаз.

Он наклонился над ее рукой, отвечая на еле слышное зазывное женское пожатие. Древний. Да, очень древний. Страшно древний. От браслета пахло тысячелетиями. Его мечта. Его несбыточная мечта – выкопать из-под земли в выжженной, насквозь ископанной Азии такую

диковину. О, да, как дикий золотой зверь. Как змей, обхвативший тонкую девичью руку. Задорожный впился глазами в браслет. Его зрачки бегали, схватывая, анализируя, отмечая. Троя?! Нет, еще древнее. Древнее на тысячу, на две тысячи лет. Матовое золото. Непонятный узор, похожий на узор звезд. Рельефный рисунок, полустершийся: бегущий лев с разинутой пастью, на нем... всадник?... всадница?... Древнее Трои... на сколько?... Сколько тысяч лет этому украшению?... Пять... шесть... семь... больше?!..

Хрисула вырвала руку. Ее глаза сияли и смеялись. Ее рот смеялся тоже.

– Вы слишком сильно сжали мне пальцы, господин профессор, – бросила она, поправляя на низко открытой груди дешевую побрякушку со стамбульского рынка. – Вам понравился мой браслет?..

У Задорожного дернулся кадык. Он закусил губу. Конечно, что же еще делать девочке, как не смеяться. Старый придурок, который, вместо того чтобы виться мотыльком вокруг прелестного цветка, сторбился над безделушкой, приклеился к ней глазами. Он проклинал свой профессиональный интерес, но не мог отвести глаз от браслета. Черт бы побрал! Эта чернявая бойкая Хрисула наверняка уже послала его к черту. Туда ему и дорога, а не в Измир. Сейчас эта девчонка спрыгнет на первой же станции, и...

– Мне не то чтобы понравился ваш браслет, – стараясь говорить спокойно, ответил он. – Я в восторге от него. Я... потрясен. Вы, надеюсь, понимаете волнение археолога...

Да, она понимает. Она же понимает. Его же имя известно ей. Она простит его! Она расскажет ему, откуда у нее эта вещь, почему, зачем... Старина Келли рассказывал же ему, как однажды на базаре в Газиантеке ему под руку подвернулся старый, бородатый, как дервиш, пьяный нищий, и Келли купил у него редчайшую золотую монетку с профилем Александра Македонского. Такие монетки держали в руках Аристотель... царь Дарий... гетера Таис...

– Вы понимаете...

– Я понимаю, – ее темно-вишневые губки изогнулись луком. – Вы хотите спросить...

– Я все хочу! – Он почти выкрикнул это. – Я хочу знать, откуда у вас эта бесценная вещь! Ей цены нет, да нет, вы не понимаете... Я хочу знать, нашли вы его, вам подарили, вы... украли... или...

– Все гораздо проще. Семейная реликвия. Такие вещицы у нас в семье передаются по наследству. Из поколения в поколение. Традиция, – Хрисула озорно взглянула на него, погладила браслет ладонью. – Я, знаете, так привыкла к нему, он такой теплый, золотой... будто бы греет руку... как... как ваша рука.

Он снова взял ее руку в свою. Какая темная, мрачная, как коряга, его рука, так давно и долго ковыряющаяся в камнях и в земле, рядом с ее нежной, лепестковой лапкой.

– Нельзя ни продать, ни обменять, – покачала она головой, когда он, проведя пальцем по браслету, поглядел на нее исподлобья. Поезд трясло, качало, чуть подбрасывало на стыках. Скорость была уже большая. Когда мимо проносился встречный, за окном раздавался резкий хлопок, мелькала серая лента состава – и все. Он отчего-то подумал о крушении. Если на такой скорости поезда столкнутся, будет железная кровавая каша. Никакой археолог не откапает никаких останков. Бог перемелет их в жерновах.

С каким странным акцентом она говорит по-английски. Да, бойко, да, быстро, за словом в карман не лезет, однако... Акцент не стамбульский. Американский.

Какая чушь. Девочка такая местная. Она из этих мест, с этой земли, проносящейся за окном – высушенной неистовым Солнцем, усеянной белокаменными, слепяще-известковыми постройками, с берегов этих пересыхающих летом речек, из-под шелестящих пыльных крон этих маслин и смоковниц. Она такая тутошняя, при чем тут Америка?..

Тепло их рук перетекало друг в друга. Он слышал, как в ее руке бьется ее кровь.

Надо найти способ. Надо найти. Ни продать, ни обменять. Придумай что-нибудь. Придумай быстро, Роман. Ты же можешь придумать.

– Я хотел бы... – его голос внезапно пронизался задыхальной хрипотцой, – взглянуть... на вашу семейную коллекцию, мисс. Только взглянуть. Ничего более.

Она покосилась на фотоаппарат, висящий у него на плече на тонком ремешке – он так и не снял его, усевшись в купейное кресло.

– Я понимаю, снимать нельзя... но... Если вы говорите правду и у вас дома много таких вещей... вы... вы даже не представляете себе, какая это ценность для мировой науки!.. Где вы живете?..

– В Измире.

– Вот чудеса. И я туда же еду.

– Я рада.

– Ваши сокровища... в Измире?..

– Да. У меня дома.

Она опять ожгла его взглядом. Он спохватился, выпустил ее руку, подвинул к ней хрустящий пакет со сладостями.

– Угощайтесь. Всякая ерунда, финики, инжир... Вы никогда не учились в Америке?..

Хрисула, запустив, как обезьянка, руку в пакет, помотала головой. Сказала с набитым инжиром ртом:

– Поедьте к нам домой. Вы все увидите. Разумеется, это... – Она проглотила инжирину. – ...не без трудностей. Я постараюсь все устроить. У меня очень строгие мама и бабушка... ну, вы знаете наши греческие дома, патриархальный уклад... там у нас все, как при Одиссее, как при Архилохе, ничего не изменилось, особенно в турецкой провинции... Такому известному человеку, как вы, они-то уж разрешат показать кое-что!.. разрешат, я уговорю их...

Господи, какое счастье. Ему повезло! Да еще такая хорошенькая...

Прекрати, старый Дон-Жуан, эта смоквочка тебе не по зубам.

Наплюй на сомнения. Ее глаза горят огнем и внятно говорят тебе все. Они говорят тебе: мы приедем ко мне домой, мы будем пить кофе в тени дикого винограда на террасе, пить греческое вино, и кислое и сладкое, а потом тебе покажут коллекцию, и, возможно, ты уломаешь меня и сделаешь два-три снимочка, а потом тебя уложат спать на чисто постланную постель наверху, в мансарде, и я приду к тебе, обовью твою шею руками. Дурак, а Келли?! А твои дела в Измире?! Ты совсем спятил. Это все жара.

– Вот и прекрасно, – боясь поверить, наклонил он отблескивающую сединой голову. – Мне есть где остановиться в Измире...

– Вы остановитесь у нас, – Хрисула улыбнулась так, что сердце у него захолонуло. – Такой знаменитый господин не должен ни о чем беспокоиться. Я все устрою. У нас очень уютно. На самом деле бабушка и мать очень добры. Я зря вам их ругала. Вы сами увидите.

На миг перед ним скользнула тень опасности, как серая змея высохшей смоковницы, мгновенно пронесшаяся за окном. Не слишком ли все быстро?.. И поезд, и попутчица, и драгоценный браслет, выплывший из мглы тысячелетий... Подделка?.. Он не может ошибиться. Он не ошибался никогда. Время выделяет вещь так, что все трещины, сколы и щербинки дышат летописью, одушевляют ее. У браслета есть дух. Как у живого существа. Задорожный, ты стал мистиком. Поди лучше в буфет, принеси воды спутнице. Плохо же ты за ней ухаживаешь.

– Вы куда, господин профессор?..

– Принести вам попить. Вы же умираете от жажды.

Она, улыбаясь, встала. Встал и он. Прежде чем он вышел за дверь, она закинула ему руки за шею, приблизила к себе его голову – она была с ним почти вровень, одного роста – и поцеловала его таким жарким и веселым поцелуем, что лицо, грудь и спина у него стали красные и горячие, как ошпаренные кипятком в бане.

До Измира оставалось совсем немного. Поезд замедлял ход. Они пили холодную ключевую воду, беседовали. Съели весь инжир. Иногда Хрисула поднималась из кресла, вставал и он, обнимал ее. Он чувствовал ребрами ее ребра. Когда он попытался посадить ее к себе на колени, она воспротивилась. Оттолкнула его, упершись ладонями ему в грудь.

– Господин Задорожный, – сказала она, кусая, как вишню, нижнюю пухлую губу, откидывая с плеча развившуюся, выскользнувшую из пучка прядь, – я не знала, что вы...

– ...что я такой нахальный?..

– Что вы такой замечательный. Давайте есть курагу. Ее в пакете еще много. Еще и дыня. Мы сушим ее на крышах, и на нее садятся мухи, шмели, по ней бегают кошки и собаки. Вы не брезгуете?..

– Изми-и-ир!.. Изми-и-ир!.. – разнесся по всему вагону гнусавый голос проводника. Хрисула вскочила. Сгребла в горсть пакет с сушеными фруктами. Ого, запасливый ежонок, улыбнулся он.

– Выходим, господин профессор!.. Я сейчас поймаю такси, вы же не знаете турецкого...

Жара уже спадала, Солнце переставало палить столь нещадно. Однако вся рубаха у Задорожного на спине промокла, пока они тряслись в поезде, ели-пили и целовались. Переодеться бы, принять душ. Теперь у нее дома, у Хрисулы. Он идет в чужой дом. Не лишне было бы сначала, прямо с вокзала, позвонить старине Келли. У него есть его измирский телефон, а дом он сам бы отыскал в хитросплетении восточных узкогорлых улочек – Келли останавливался всегда у старухи Файруз, она дешево брала, в округе было спокойно, мало грабили и стреляли, а еще у старухи был сад, сплошь засаженный смоковницами, инжиру – есть не хочу. У него хорошая зрительная память, как у всякого археолога. У него глаза – как два фотоаппарата... Но почему, почему эта девушка... и так все быстро и странно...

Подрулила машина. Хрисула наклонилась к ветровому стеклу. Она стояла к Задорожному спиной, и он не смог увидеть, как она перемигнулась с водителем такси.

– К пристани, и скорее!..

Да отчего же скорее. Отчего.

Они сели сзади, водитель, обернувшись, показал прокуренный желтый клык.

– Что он сказал?.. – Он обнял девушку. – Турецкий язык такой же красивый, как итальянский, жаль, я не выучил, лентяй...

– Он говорит, что мы с вами хорошая пара, господин профессор, – Хрисула, прижимаясь к нему, подняла смуглое лицо, блестящее потом, он вдохнул ее запах и почувствовал, как пахнет от нее елеем и финиками, – а вы бы хотели, чтобы у вас была такая жена, как я, господин профессор?..

Он сильнее прижал ее к себе. С женой он расстался полгода назад. Они прожили вместе двадцать лет. Она не изменила ему, и он не изменил ей; они просто выпили свою чашу до дна, и ни капли влаги не осталось.

Такси тормознуло у маленькой белой пристани. Вода в заливе была и впрямь синяя, совершенно синяя – такой кубово-синий, торжествующе-сапфировый цвет, переходящий в свет, Задорожный видел едва ли не впервые. Нет, стоп, еще в бухте Новый Свет в Крыму такая вода. Сапфир, изумруд, густо-синий и праздничный.

Хрисула выпрыгнула из машины. Потянула его за руку.

– Выходите!.. Мы должны переплыть через залив... на тот берег... Эй, лодочник! – крикнула она по-турецки. – Сюда!..

Белая лодка подгребла к камням, причалила к боку пристани. Белый цвет, ну да, он же отражает Солнце. Здесь, в Турции, в Греции, на островах Архипелага, народ спасается от Солнца тем, что красит все в белый цвет. И носит белые одежды. Как ангелы Божьи. Чудесная

мода. А мы, в России, в вечных шубах, мехах... правда, зима у нас тоже белая, белый песец, лисий хвост...

– Садитесь, не бойтесь... я живу на том берегу...

Лодка шатнулась под его ногой, когда он вступил туда. Он чуть не упал в воду. Удержался. А Христос, между прочим, ходил по водам. Совсем недалеко отсюда, в Тивериадском море...

Лодочник, неряшливо-бородатый, смахивающий на русского вокзального нищего, греб по старинке, весла обдавали сидящих брызгами. Вечерело, и шар Солнца, как алый апельсин, скатывался в море, пропадал за изгибом темных скал, желто-белого известняка. Лодка ткнулась носом прямо в камни. Хрисула уже расплатилась, пока Задорожный вытягивал из кармана бумажник.

– Ехать дальше?..

– Да, еще немного... погодите, профессор, я сейчас поймаю машину...

Странно, до чего расторопная девочка. Его не покидало ощущение – его поймали, как такси. Он косился на золотой витой браслет, пытался отбросить от себя это гадкое чувство. Ему показалось, что таксист, высунувшийся из-за стекла, посмотрел на Хрисулу, как на давно знакомую. Ну и что, тут, в Измире, все знают друг друга, как в русской деревне, здороваются на улицах; знают, кто когда женился, кто развелся, кто с кем спал, кто у кого родился, кто кого убил. Если уж в Москве знают... Какая разница. Может, этот парень ее бывший любовник. Ему это не важно. Ему важны сокровища. И он их увидит.

Едучи в машине, он пощупал фотоаппарат, побарабанил пальцами по кожаному боку кейса: там записные книжки, альбомы, карандаши, фломастеры, калька, копирка, небольшой «ноутбук». Он экипирован будь здоров. Старая выучка. Если ему даже не разрешат фотографировать ни в какую – он зарисует... Он почувствовал на колене руку Хрисулы. Ого, повадки опытной куртизанки. А ты бы как хотел, наивный русский романтик?.. В Трое, в Афинах, в Пантикапее, в Эфесе в баснословные времена были гетеры, и они процветали. Хрисула, судя по всему, красивая турецкая гетера. Тем лучше. Интересно, сколько она стоит?.. Дорожное приключение, приключение...

Машина кружилась по узким улочкам восточного городка так долго, что у него закружилась голова. Остановилась у маленького домика, утопавшего в зелени, изрядно подвяленной нескончаемой жарой. Хрисула сунула водителю бумажку и клюнула Задорожного в щеку.

– Приехали, дорогой. – Это английское «darling» странно резануло его. Вдруг так запанибрата?.. Ну да, интим, они уж целовались... Внезапно все это – его знакомство в поезде, браслет на тонкой руке, блужданье в машине по паутине прокаленных Солнцем улиц – показалось ему ужасом, бредом. Оранжевое Солнце во лбу бездонного неба, как одинокий глаз циклопа. И он перед домом, где ждут его сокровища. Ждут?.. – Добро пожаловать. Сейчас вы все увидите. Я вам все покажу. Вылезайте из машины. Проходите... Я открою дверь...

Она наклонилась к шоферу, что-то прошептала ему на ухо. Мужик со шрамом на щеке кивнул, крутанул руль. Пыль взвилась из-под колес и забила ноздри. Задорожный отер лицо ладонью. Откроет?.. Разве дома никого нет?.. Ни матери, ни бабушки?..

Хрисула недолго копалась с ключом. Дверь легко подалась под ее загорелой рукой.

– Входите. Вы гость. Вы войдете первым.

Он наклонился, чтобы не удариться головой о притолоку – все же он был высок, его жена ругалась в шутку: «Останкинская башня!..» – и вошел, впал в темное пространство восточного дома. Ни света. Ни искры. Светильников нет. И дома никого нет, похоже. Где он?.. В прихожей?.. Не видно ни зги, что за дьявольщина. Внезапно сзади резкий стук заставил его обернуться, и в тот же миг вспышка ослепила его, свет хлестнул его по лицу – фонарик?.. выблеск софита?.. Он зажмурился, и в тот же миг удар в печень согнул его пополам; его руки подхватили, завели за спину. Ногой втокнули в распахнувшуюся перед ним дверь. Он тяжело дышал, хотел повернуться, хотел крикнуть: кто вы?.. за что?!.. – и понял ясно, непреложно:

влип, попался. В комнате, куда его втокнули, было темно, но можно было различить лица, руки. Далеко, в углу под потолком, горел светильник. Такие светильники жгли на Востоке в незапамятной древности, наливая туда жир и вставляя толстый фитиль. В тусклом свете, будто потустороннем, мерцали серьги в ушах мужчин, блестели зубы, настоящие и вставные. Синела щетина на щеках. Сколько их было?.. Трое?.. Четверо?.. Задорожный различил круглый стол, на столе – узкие высокие бокалы, длинногорлую темнозеленую, будто изумрудную, бутылку, лежащую на боку медную флягу. Притон, поздравь себя, Роман. Ты вляпался классически. Неужели и браслет – поддельный?! Нет, старик, ты же дока, ты не мог ошибиться, ты не ошибался никогда...

Он услышал сбоку частое дыханье. Хрисула. Она стояла тут же, рядом. Хорошо сработала девочка. Классический захват. Актриса, ты бесподобно сыграла свою роль. Только вот чем они поживятся, турецкие урки?.. У него при себе всего пятьсот баксов; карточка банка – в отеле, в Стамбуле, он забыл ее в кармане парадного смокинга и льстил себя надеждой, что до нее не докопаются ручонки горничных. Да, девочка, хороша ты, спору нет. Да, мы могли бы быть парой. Интересно, как мы смотрелись бы. Жаль, тут зеркала нет. Русский профессор с заведенными за спину руками; стамбульская шлюха, вся в поту, тяжело дышащая, умирающая от жары, сделавшая свое грязное дело. Хоть сейчас под венец.

– У меня нет никаких особенных денег, господа, – как можно холоднее сказал он по-английски, обливаясь потом, слизывая влагу с губы. – Возьмите пятьсот долларов, если вас это устроит. Ничем помочь не могу. Я...

Мужик, небритый, в синей щетине, с грубо заросшим рубцом, прочерченным через весь лоб, вразвалку подошел к Задорожному. На Романа наплыло его лицо. В мочке сверкнула капля золота, как у пирата. У, турок, как злобно он глядит. Кто так больно сцепил сзади его руки?! И не поборешься. Дурень, он не захватил с собой в Измир оружие. У него лицензия, у него отличный «браунинг» в Стамбуле, в отеле... Предупреждали ведь, что в Турции охотятся на русских, отстреливают русских, как осенних уток...

– Вдохни глубже, профессор, и расслабься, – на чистом русском языке сказал синемордый мужик с серьгой в ухе. – Нам не нужны твои деньги. Нам нужен ты сам. Живой, здоровый, веселый и умный. Поэтому не плачь. А веди себя прилично. Ты же хороший мальчик. Тебя же весь крещеный мир знает.

– И некрещеный. – Из тьмы выступил другой. Гладкое лицо. Будто фарфоровые щеки, как у девушки. Вездесущие русские, для чего вы с турками спелись. Добыча вечных баксов?! Ты же слышал – им не нужны твои деньги. – Вэлкам, вэлкам к нам, дарлинг. Ты же так хотел увидеть сокровища. Ты их увидишь.

Сокровища?! Значит, это не вранье?! Он обернулся к Хрисуле, мучительно выгнув шею. Она глядела на него неожиданно печально, нежно.

– Прекратите меня держать! Отпустите! – Он дернулся всем телом. – Если вы русские – объясните, где я! И кто вы! И зачем я вам!

– Затем же, зачем тебе сокровища. – Фарфоровый истукан взял безжизненно повисшую руку Хрисулы, поднес к лицу Задорожного запястье с браслетом. – Ты положил глаз на железяку. У тебя губа не дура. Такого добра у нас, мистер Задорожный, целый сундук. И мы подозреваем, что ему не одна тысяча лет. Мы напали на клад, и мы упускать его не собираемся. Это немыслимые деньги, ты понимаешь. Все мы это понимаем. Отпусти его, Ахсан! Куришь?.. Хорошие, хоть и турецкие. Пробуй.

Задорожный размял затекшие в железной, клещевой хватке кисти, пальцы, взял сигарету из золотого портсигара, изукрашенного алмазами. Шикуют ребята. Дешевка, игра в роскошь, игра в сладкую сытую жизнь. Ход над пропастью по тонкому канату. Натянут чуть сильнее – струна лопнет. Натяг ослабнет – свалишься в пропасть, разобьешь башку о камни. Когда это разбой был беспечным и безопасным, как бритва?.. Фарфоровый виртуоз поднес к его носу

зажигалку. Он затаился. Слава Богу, руки не дрожат. Какого дьявола им надо от него?! Сундук сокровищ... Если не брешут – где ж он?!

– Ты пленник, профессор, – медленно, будто жуя жвачку, сказал синемордый. – Немножко побудешь пленником. Ведь точно не был никогда.

– Ахат! Закинь его в камору, где сундук! – крикнул фарфоровый. Синемордый грубо рванул Задорожного за плечо.

– Покурил, и будя. – Он вынул у него изо рта двумя пальцами сигарету и бросил на пол. – Делу время, потехе... – Он толкнул Романа в спину. – Ступай! Туда! Вон! Открыта дверь!

Еще одна дверь, и в полную темноту. И пахнет горелым, будто недавно сожгли здесь шерсть или бумагу. Небранный Ахат ударил его по спине, и он чуть не упал через порог. Снова тусклый свет – теперь уже не под потолком: снизу, с пола. Керосиновая лампа. Он уж и забыл, как они выглядят. У них на даче, в детстве, была такая. Они с братом чистили ее стекло песком. Любили зажигать – в дождь, в непогоду... И посреди комнаты – крестьянский кованый сундук, и он делает шаг, еще шаг, еще шаг к сундуку... И среди тряпок, среди грязных лоскутьев, там, внутри, в сундуке...

Он поднял голову. Поглядел невидящими глазами. Прямо на него было наставлено дуло револьвера.

– Ты будешь работать на нас, великий профессор, – насмешливо выдавил фарфоровый идол. Револьвер сидел в его кулаке, как влитой. – Ты будешь работать на нас, а нет – я всажу тебе пулю в лоб прямо здесь, перед этим сундучком. Мы немало поработали, чтобы завладеть тем, чем мы теперь владеем. Правда, пришлось повозиться. Этот мужичонка оказался такой капризный. Мог бы остаться жить, между прочим, если б не так артачился. Он, собака, подстрелил одного нашего малыша. Я этого вынести не смог. Хотя, конечно, разумней было бы оставить его в живых и еще немножко потрясти. Мы бы вытрясли из этого дырявого мешка еще кое-какие сведенья о древних захороненьях. Теперь поздно.

По спине Задорожного потек пот.

– Кто нашел клад?!

Фарфоровый искривил губы. Поиграл револьвером.

– Один америкэн бой. Здесь, недалеко от Измира. Мы знаем, где, и копнем еще там сами. Мы взяли у него золото тепленьким, только что откопанным. Нам повезло. Нам никогда так еще не везло. Я, конечно, профан, но даже я понимаю, что золотишко – старее некуда.

– Кто нашел...

Он глядел в черную дырку дула.

– Крис Келли, старая перечница. Хитрый янки, сперва хотел нас обдурить, совал нам краснофигурные идиотские черепки с анатолийского побережья, потом начал палить. Недолго парень поиграл в бесплатном тире. Его картонного оленя быстро ранили стрелой.

Задорожный ничего не видел из-за яростных мгновенных слез, заслонивших ему тьму каморы. Крис. Старина Крис. Эх, Келли, он не успел. Кто не успел – тот опоздал.

– Ты будешь работать на нас. Мы запрем тебя здесь. Делай научное описание вещи-чек. Мы не будем тебя торопить. Еду тебе будут приносить. Говорить с тобой не будут. Все бирюльки взяты из одного могильника. Так сам Келли сказал. Фотографировать нельзя. Можешь делать зарисовки и записи. И запоминать. Тренируй память, профессор. Это всегда полезно.

Как кривится фарфоровая рожа. Как в кривом зеркале. Как мигает керосиновый фитиль у него за спиной, под ногами, на полу. Ему неважно, где он будет спать, что есть. Его оставят наедине с сокровищами. И он будет знать про них все. Он будет видеть их, осязать. Он запомнит их. Он расскажет о них миру. Но ему не поверят. Придумать можно все что угодно. Какая изощренная пытка. Зачем им его записи и умозаключения?! Зачем им его работа?! За какие

деньги они продадут ее, куда... в научные журналы?!.. бессмыслица, бессмыслица... или они продадут сокровища... а его возьмут живым свидетелем?!.. Свидетельствую, ибо истинно...

Под куполом головы стоял легкий звон, как внутри Айя-Софии. Еще бы одну сигарету. Да ведь не дадут.

Синемордый Ахсан пощупал пальцем серьгу в ухе. В соседней комнате простучали каблучки. Туфельки Хрисулы. Боже, с каким бы наслаждением он бы прильнул сейчас губами к живой руке, не к золотому браслету. Он клюнул на браслет, как щука – на блесну. Оставят ли они его живым?! Он сделает свое дело... и его шлепнут... как Криса?!..

– Ты будешь работать на нас.

Русские хари, ловцы знаменитостей, вы тоже на кого-то, падлы, работаете.

– Ты *будешь* работать на нас?!

Дуло револьвера глядело на него, и ему показалось на миг – там, внутри черного кружка, туннель в ничто, бесконечность.

... ..

Утреннее море было светлым, как внутренность перламутровой раковины, улыбающе-нежным, и рябь скользила по нему, и свет сквозил со дна, сквозь переплетенья диких темно-зеленых водорослей, похожих на длинные русалочьи волосы; косы водорослей были видны с высокого обрыва, с глинистой кручи над самой кромкой прибоя. Море утром было светлым и тайным, как ее нежное имя – Светлана. Оно все вспыхивало радугой огней, потому что Солнце всходило все выше, все ярче заливало жидким золотом водную широкую гладь, и йодистый ветер налетал, опаляя лицо, внезапно дул с севера порывом прохлады, и она, стоя на обрыве в черном сыром купальнике, подставляла ветру щеки. Утро! Это было ее утро. Она старалась проснуться задолго до момента, когда Сережа Ковалев забьет ложкой в медный таз и занудно заканючит: «Подье-о-о-ом!.. Подье-о-о-ом!.. Шесть часов, господи!.. На работу!..» Она просыпалась в пять и бежала к морю – купаться, одна. Она любила входить в море одна, одиноко и радостно, оставаться наедине с морем, отдаваться ему, смеяться, плывя и кувыряясь, разрезать головой и руками солнечную золотую дорожку. Ночью дорожка на море была серебряная, и Светлане казалось – по ней можно пройти босиком. Она ходила купаться и ночью, но не одна – с поварихой Славкой Сатырос, с Ковалевым, с Князем Всеволодом. Всеволод Ефимович Егоров, которого все звали то «Князь», то «Прораб», тряся над Светланой, берег ее пуще глаза, как найденный в раскопе осколок драгоценной чернофигурной вазы седьмого века до Рождества Христова. Князю Всеволоду нравилось, как Светлана поет. «Певица, соловушка, даром что медсестра!.. Спой еще эту, цыганскую, „Невечернюю“, что ли... уж больно за душу берет...» Взяли медсестру в археологическую экспедицию, эка невидаль!.. неважно, кого взять, умела бы работать, копать, промывать черепки и иные находки в тазу, освобождая от земли и глины... А надо будет – где и рану перевяжет; и порошок даст. В аптечке экспедиции имелись и ампулы с антибиотиками, и одноразовые шприцы – мало ли кого и как прихватит! Тамань, станица Тамань, позади Темрюк, впереди, через пролив, – старая Керчь... И могучее Солнце, сияя ярче, чем тысяча алмазов, восходит над неистово-синим морем, зовя в ту даль, откуда нет возврата.

Коля, Колечка Страхов, милый повеса с Якиманки, зачем ты сманил ее в эту волшебную экспедицию... Здесь так хорошо. Здесь море так пахнет йодом. Не тем, не больничным... Неужели когда-нибудь лето закончится, и надо будет отсюда уехать... Зато они привезут в Пушкинский музей много откопанных древностей... и люди потом, столетия спустя, будут глядеть на красоту, спасенную ими, спрятанную за стеклами музея... спасенную – ею, простенькой медсестричкой Светланой Костровой!.. За что ей такая честь... Колька Страхов был ее закадычным дружкой, никаким не любовником, хотя все в экспедиции думали: хорошо таятся

ребята, притворяются. Коля, распивая с ней вечные чаи в коммунальной скворешне на Якиманке, любил повторять: «Не дрейфь, Светулик, кто был ничем, тот станет всем». Коля, на ее взгляд, уже и был всем – на все руки от скуки: и разносчиком газет, и маляром, и слесарем, и электриком, а искусство любил превыше всего, и ее увлечение пеньем поддерживал: давай, Светулик, жми во все лопатки, обскачи-ка Земфиру и Алсу, тебе памятник золотой благодарная публика поставит!.. Страхов строчил недурные стишки, и Светлана заставляла его писать тексты для рок-групп, где она подвизалась: гордись, мужик, что я тебя пою!.. Весной Коля невесть как скорешился с ребяташками-реставраторами из Пушкинского музея на Волхонке, те познакомили его с археологами, и все произошло в мгновение ока. Поедешь на все лето работать в раскопе?.. Конечно, поеду!.. А что такое раскоп?.. Слово пугало мрачной погребальностью. В нем слышалась гибель. Коля объяснил, смеясь. Какое дивное лето! И эти вставания в пять утра, и море, пахнущее йодистыми водорослями, и мытье черепков в медном тазу, и кислые яблоки, что на животах под рубахами притаскивают в лагерь Серега и Князь Всеволод, крадя их в беспризорных таманских садах, и звезды по ночам, похожие на плачущие от счастья глаза... А будет осень и Москва. И жить – непонятно на что. Из больницы она уволилась; в столичных непрестижных рок-группах, вчера из подворотни, где она пела, пробуя выразить себя – у нее был и вправду сильный, яркий голос, и на сцене, именно в рок-стиле и в рок-текстах, с их открытым сопротивлением и трагическим флером, она чувствовала себя свободно – не платили ни шиша, ребята, пытаясь пробиться, сами искали спонсоров на закупку музыкальных инструментов, на аренду зала для концерта; здесь, в экспедиции, обещали дать денег, сам начальник обещал, профессор Задорожный, так повариха Славка сказала, а Светлана его самого еще и в глаза не видала, какой-такой этот великий профессор: она прилетела в Симферополь, а он как раз улетел в Стамбул на неделю, ребята сказали – нечто нашли в Турции примечательное, подробности письмом. Занесло ее!.. Археологи... романтики, спятившие на тайнах Времени, юродивые не от мира сего... Вечерами, у костра, она наслушивалась разных историй – и жутких, и смешных, и мистических, и дико-правдивых до жестокости, до последней обнаженки. Взрослый человек любит сказку. Он до того любит сказку, что его можно баюкать в палатке под свист ветра, как младенца, и рассказывать взаправдашние сказки – до полночи, до звезды...

«Светочка, идем к нам в палатку, расскажи нам историю!..»

«Светочка, посиди с нами, у нас, между прочим, домашнее вино есть и хамса, Колька в рыбсовхозе раздобыл...»

«Светочка, пощупай мне лоб, у меня, кажется, температура!.. ну вот не вру, ей-Богу, честное слово...»

Она, смеясь, проходила мимо мужских палаток, задирала голову к небесам. Крупные киммерийские звезды стремили из себя наружу, в густую бездонную тьму, раскидистые лучи, как полынные лапы, выпускали светящиеся стрелы. Хотелось петь долгую, бесконечную песню, подняв руки к звездному небу. Степь и полынь. И тимьян. И чабрец. И скоро, совсем скоро утро. Южная ночь темна и коротка. И она встает в пять утра и бежит на море – купаться одна. До медного гонга Сереги. До вопля: «Копа-а-ать!..»

Они раскапывали греческую колонию Гермонассу, и раскоп зиял прямо на обрыве над морем. Вылезая из раскопа, они видели море. Необъятно раскинутый по земле водный плат, и полоска суши вдаль, туманная, призрачная: Керчь. Древний Пантикапей. Катерки жуками-плавунцами шустро бегали через пролив. В субботу Князь Всеволод разрешал предорогим работникам отправиться в Керчь, погулять. Они все любили керченские гулянья. Гулянье по ночной Керчи было главным и единственным развлечением, если не считать купанья в море. Светлане казалось – она не идет по набережной, она кружится на карусели, и огни рассыпаются, плывут перед глазами, как светящиеся медузы в ночном море. Ребята смеялись, курили, покупали девочкам дурацкие банки ледяной «Пепси» и «Фанты». В экспедиции была одна

иностранка, миссис Моника Бельцони. Она была американка, а замужем за итальянцем. Ирена Кайтох тоже, конечно, была наполовину иностранка, хоть и в России жила. Муж поляк, она полька, а в России родились, в России и умрут. Курица не птица, Польша не заграница. Из перерусских русские. Ирена даже польского языка толком не знает, так, несколько расхожих слов, какая ж она полька. Она ездила на катерах с ними в Керчь; Моника не ездила. Ирена в экспедиции была не одна – с сыном Георгием, Ежи, Ежиком. Все так и звали мальчишку – Ежик. Он и не мальчишка, юноша уже, вытягивается весь в небо, и усики смешные растут, как волоски на кактусе. И пялится на Светлану, пялится. Море, жара, солнце, любовь. Первые вздохи, первые подарки. Светлана, проснувшись, обнаруживала у входа в свою палатку огромную алую розу; или бронзовый античный светильник, добытый в раскопе, и в нем горел, чадил на ветру фитиль, обмокнутый в рыбий жир, похищенный из ее аптечки; или сложенную вчетверо бумажку с нескладным стихом, подsunутую под потертый брезент. Автор стихов преbывал инкогнито, смущенно опускал взор, но Светлана доподлинно знала, кто это. Ирена не препятствовала увлечению сына, лишь пожимала плечами. Юное лето промчится, будет другое лето, еще много лет и зим... Светлана однажды рассмеялась: «Ежик, ну я же старуха для тебя!.. ты же видишь, я старше тебя...» Они стояли на берегу, прибой лизал их босые ноги. Камни целовали ступни Светланы. «Я бы хотел быть этими камнями, – бледный от волнения Ежик кивнул на гальку у них под ногами, – чтобы к ним прикасались твои ноги. Чтобы ты шла по мне. И прошла». Она прищурилась. Солнечная вода слепила ей глаза. «Я чувствую, – сказала она тихо, – что мне предстоит полюбить в жизни того, кто много старше меня. Много старше. Так Бог отомстит мне за тебя. Что я тебе, мальчику, не могу ответить. Все это очень опасно, Ежик. Очень. И непонятно. И чудесно». Он радостно кивнул, с восторгом согласился. Да, да, чудесно! И пусть все так и останется!

Ничего никогда не остается так, как есть. Ничего.

Светлана жила в одной палатке с поварихой Станиславой Сатырос, гречанкой из-под Керчи. Карьера топ-модели хулиганке Славке Сатырос не улыбнулась. На поприще поварихи она чувствовала себя победительно. Вся Керчь, по слухам, знала Славку как портовую шлюшку, и она, гордясь шумом сплетен, особенно-то и не отрицала их. Славка была высокого, мужского роста – за метр восемьдесят, как раз для подиума, – с худыми кобыльими ногами и густым «конским хвостом» на затылке, ходила в замызганной тельняшке; спряпала она отменно – перловка превращалась под ее пальцами в изысканное саго, простая уха – в тройную и ресторанную. Славка была врожденный талант, и все это понимали. Она попробовала было грубо пококетничать с Серегой Ковалевым, потом с Колей Страховым – и получила отбой. Но не растерялась. «Я самого Андрона обихожу! – крикнула она запальчиво, когда Ирена осадил ее в ее вызывающем ежевечерним верчении задом перед мужиками. – Да, самого Андрона!.. И он меня увезет в Москву!.. И буду я кума королю и солнцу сестра!.. А вы заткнетесь тут все... а я буду...» – «Шеф-поваром ресторана „Арагви“!..» – смеясь, закончила Светлана. «А что? – выпятила Станислава грудь под тельняшкой. – Мы, керченские, лучше всех галушки стряпаем!.. и мясо вкусней всех жарим!.. и вино я умею делать – упьешься, это не вино, а песня!.. Я и сыр делать умею овечий... Да, да, вот только Андрона окучу... Мне Москва нужна, Москва...»

Кроме Славки, в экспедиции тельняшку носил еще один человек. Леон. Леонид Мурский. Он был неприметен, неряшлив, щеки у него были покрыты мягкой черной щетиной, которую он не брил, а выстригал ножницами, называя это бородой «гарлем». Волосы мотались у него вокруг башки, жирные, немытые, длинные. Лучше б он их постриг, думала с тоской и неприязнью Светлана. А Андрон, тот, на которого Славка положила глаз, был звезда. Андрон был поп-звезда. Трудно сказать, кто он был на самом деле. Заносчивый москвич, растиражированный миллионно, разнесенный экранами и радиоволнами во все концы; он пел разухабистые

нахальные песни, кривлялся и изгалялся и соло, и в ансамблях, брился налысо, курил марихуану, шаманил и камлал на сцене в клубах дыма из сухого льда, и две группы почли за честь его пребывание в них, а он кинул их, как женщин, и вдруг снялся сразу в трех фильмах молодых и сумасшедших режиссеров – и прогремел на всю страну. Он был еще молод, и ему было греметь да греметь; его беда была в том, что он не знал, куда греметь дальше. Каким ветром его занесло в Тамань, к археологам?.. Он и сам не знал. Кто-то поманил, кто-то соблазнил. Профессор Задорожный, видимо, был слишком добр. Блеск Андрона слепил и ему глаза. Эти руки – рабочие?.. Не смешите народ. Андрон, копнув земельку пару раз, вываливался из шестиметровой глубины раскопа наверх, скидывал джинсы, охал, стонал, растягивался на солнце. Пока другие копали, звезда загорала. Разделение труда. Все правильно. Все справедливо. У Андрона была красивая, как у ангела, фигура. «Как у инкуба, – сердито поправляла Светлану Ирена. – Разве ты не видишь, что этот восходящий Люцифер – от дьявола?.. И никогда он Геспером не станет... Заносчивый хлыщик, блестящий прыщик...» Он божественно поет, возражала Светлана, а играет еще интересней!.. «Брось, – отмахивалась Ирена. – Это все энергия пола. Это ему силушку молодецкую некуда девать. Он не знает смыслов. Он презирает всех и вся. Он – кокет!»

Светлана смеялась. В экспедиции был еще один мужик. О, это была темная лошадка. Такая темная, прямо вороная. Никто о нем не знал ничего, но на ухо шептали друг другу: ну да, это он, тот самый, политический бандит, теневой владыка, жуткий Гурий Жермон. Да нет, это не он!.. Как же не он, когда он самый. Ты погляди хоть раз на него по ящику. Все повадки его. Да его ж не показывали ни разу по телевизору!.. Сколько хочешь показывали. Ну да, редко. Он прячется. Это тебе не то что Андрон – без мыла лезет всюду. Этот – молчит. Думает себе невесть что.

Жермон, играющий в политику; Жермон, ворочающий теневыми капиталами; Жермон, зачем-то оказавшийся здесь, на берегу Керченского пролива, в пустынной и полынной Тамани – что за чертовщина!.. А никакой чертовщины не было и нет; Жермон покровительствует археологам, Жермон сам следит за ходом раскопок, Жермон спонсирует погибающий от нищеты Пушкинский музей изобразительных искусств, и, может быть, это его, Жермона, темные денежки будут платить нам за земляные труды... Ну, уж это ты загнула!.. Ничуть. Мне сам Задорожный говорил... ну, не говорил прямо, конечно, а так, делал намеки...

А Моника Бельцони, с висящими белыми волосами вокруг умашенного дорогими кремами, не первой свежести лица, живет одна, в отдельной палатке, привилегированно, как и положено иностранке. И там, в палатке, у нее есть даже свой умывальник. И в волосы на затылке она вставляет черепаховый гребень. Моника – жена археолога, Ирена сказала. Какого-то сморчка-итальянца. Знаменитость сейчас в Москве. Соскучится Моника – в Москву к мужу слетает. Потом опять в Тамань прилетит. Долго ли умеючи, с мешком баксов под мышкой. Где ты будешь работать, нищая Светка, этой осенью. Где. Один Бог знает. Если знает – пусть скажет.

Вот пекло. Вот чертово пекло. Какое было чудное, ласково утро, и вот уже вся жаркая ярость мира обрушилась на берег и раскоп. Солнце пробивает насквозь все панамы, все наваленные на темя защитные тряпки, все соломенные шляпы. Солнце пляшет в небесах пляску святого Витта.

Светлана, разогнувшись, утерла лоб сгибом руки. Ее ладони были в земле. Она сидела на корточках перед тазом, в котором мыла найденные работниками осколки, черепки, утварь, украшения. Воду в таз наливали холодную, добытую из колодца на краю Тамани и привезенную в экспедиционный лагерь на телеге – в распоряжении имелся гнедой тощий конь Гарпун, а утреннего водовоза выбирали каждый раз разного. Особенно старательным водовозом был Леон. Он наполнял водой все бочки и канистры, находил все пустые бутылки из-

под «пепси». Понукая Гарпуна, трясясь на телеге в виду лагеря, кричал: «Воду кому!.. Воду кому!..» К полудню вода, налитая в Светланин помывочный таз, превращалась в кипяток. Она обжигала себе пальцы. Она, отмывая, держала в руках вещи, что держали в руках женщины, жившие за тысячу, за две тысячи лет до нее – обломок вазы, где хранили зерно, скол зеркала из гладко обточенного обсидиана или лабрадора, медное изогнутое кольцо, бронзовую гривну. Бронзовая гривна была хороша, так же как и бронзовый темный, почти черный браслет, открытый замечательным и ловким Ежиком. Ежик сказал: вы никто не нашли ни одной золотой вещи, а я найду. Ежик был неутомим в поисках – даже Ирена удивлялась. «Парень, ты бы хоть отдохнул!.. иди бычков попаси...»

Близ лагеря, привязанные к колышкам, врытым в выжженную землю, тяжелыми чугунами цепками, паслись два бычка. Их кликали странно – Быча и Козя. Бычки были молоденькие, но у них уже торчали рога. Повариха Славка Сатырос боялась бычков, бегала мимо них, прикрыв глаза, визжа глупо, по-детски. Леон, придерживая коня, вылезая из-за бочек с водой, спрыгивал с телеги, подходил к бычкам, чесал у Кози за ушами, вытаскивал Быче из кармана корку хлеба.

Бычкам было тоже жарко. Все изнывали от жары. Скорей бы обед и купаться!

Море, щекочущие ноги водоросли грезилась несбыточным сном.

А вон оно было, море – взгляд поднять, рукой подать...

– Я-а-а-а-а-а!

Дикий вопль потряс просторы, пропитанные жарой, как маслом. Все оторвались от копания. Кричал Ежик. Он встал в раскопе во весь рост. Он что-то держал над взлохмаченной светловолосой головой. Его рот был раскрыт, как у галчонка, и он без перерыва кричал:

– Я-а-а-а-а-а! Я-а-а-а-а-а!

Сергея Ковалев бросил лопатку, подошел к кричащему Ежику.

– Ты что, парень, сбрендил, что ли?.. ты что так вопишь, будто у тебя ломка началась?!.. Что это у тебя в руках, а?.. ну кончай ты орать, дай-ка я погляжу, что это у тебя...

Опытный Сергей, археолог, понял сразу – это находка. Воспитанный Ежик никогда не стал бы так вопить; ну не приступ же аппендицита у него, в конце концов. Сергей попытался дотянуться до поднятой Ежиком ввысь странной вещи. Она была не маленькая – вроде большой столовой тарелки. И выгнута, как тарелка. Вся в грязи, заляпана... Сквозь комья грязи и глины солнце высветило золотые пятна.

– Я наше-о-о-ол!.. Светлана, мой скорей в тазу!.. это же прелесть что такое...

Светлана, падая и спотыкаясь, бросилась к Ежику через рассыпанные камни раскопа, перешагивая через очищенные от насыпей глины городские кирпичные стены, пробегая босыми ногами по дну высохшего бассейна, по выцветшей мозаике, по древней цветной смальте. Ежик, с находкой в руках, прыгнул на край бассейна. Он протянул грязную тарелку Светлане, не Сереге. Светлана застыла внизу, на дне бассейна, впечатывая ступни в мозаичного дельфина, изогнувшего гладкую озорную спину, будто бы впрямь стояла верхом на играющем морском звере. Она приняла находку из рук Ежика, и дыхание ее пресеклось. Тяжесть металла тут же оттянула ей руки. Железо?.. Бронза?..

Она прижала тарелку к груди. Отковырнула ногтем глину. Чистое слепяще-желтое пятно, отразив солнечный луч, положило яркий отсвет на Светланино загорелое лицо.

– Золото! Ребята, золото! Ура!

Все, кидая заступы, мотыжки, лопаты, деревянные лопаточки, сбрасывая на ходу перчатки, бежали к Светлане, держащей в руках Ежикину добычу. Налетели на нее, как вихрь. Сгрудились. Загалдели. Пытались вырвать у нее золото из рук, полюбоваться, счистить глину – Сергей не дал. Властно протянул руку:

– Света, мой! Вон твой таз! Сейчас все и увидим!

Она подбежала к тазу, встала на колени. Ей почему-то казалось – надо встать на колени, очищать находку от грязи, как бы молясь. Сердце у нее сильно забилося. Господи, ведь это...

Горячая, просвеченная солнцем вода в тазу быстро отмывала слои глины. Под Светланыными пальцами сияли, высвечивались в лучах солнца, под грязной водой, чистый лоб, крылья носа, золотые слепые веки, нежный улыбающийся рот...

Она встала с колен, выпрямилась над тазом. Подняла в руках драгоценность, чтобы видели все. Золотая маска молодой женщины, древней красавицы, глядела на притихших людей. С маски на голову Светланы, на белый платок, коим был обвязан ее лоб, капала вода. Будто слезы, внезапно подумал Серега Ковалев, шурясь на солнце.

– С ума спятить! Мушкетеры, ведь это же с ума просто сойти...

– Ежик, тебя директриса Пушкинского баксами с ног до головы осыплет!.. купишь мамке норковую шубу...

– Ребята, маска, умереть-не-встать!.. маска царицы, скорей всего... глядите, по золотому вороту, около шеи, письма... кто знает эту письменность?!.. Князь, ты?!..

Всеволод Ефимович осторожно взял маску из рук Светланы. Вгляделся пристально. Губы его шевелились, как у кролика, жующего траву.

– Известные науке знаки, – наконец сказал он, поднимая голову, промакивая лоб закатанным рукавом просоленной рубахи. – Леш-ший... не разберу... похоже и на этруское письмо, и на клинопись, и немного – на рисунки с Фестского диска... мы, ребята, ведь довольно далеко от Крита, так я понимаю?.. однако... ну, что это древнее Средиземноморье, это козе понятно... откуда она здесь?.. колонисты?..

– Не скифы?.. – деликатно спросил Серега, восторженно уставясь на маску. – Не скифское золото?.. Не звериный стиль?..

– Непохоже, – раздумчиво ответил Князь Всеволод, – непохоже... На что ж это похоже?.. Напоминает...

– Нефертити! – выкрикнул растрепанный Ежик, обводя всех сумасшедшими светлыми глазами. Веснушки на его носу ярче выявились на бледности, проступившей даже сквозь загар. – Это таманская Нефертити! Это же...

– Да, сынок, это открытие, – медленно сказал Князь Всеволод, поворачивая маску в руках, и золотые ложбины, выпуклости и впадины засветились, вспыхнули под солнцем. – Это открытие! Маска золотой царицы из Гермонассы! Царицы неизвестного государства... Смотрите, какое круглое лицо, как по циркулю выкованное, будто золотая Луна, а так красиво... и глаза стоят широко, разрез чуть раскосый, слегка восточный, глаз длинный, доходит до виска... маленький рот, короткий нос... волосы чуть выются... да нет, не египетский, и не тюркский, все-таки средиземноморский тип... Крит?.. Эгеида?.. Нет, это не Тамань. Она попала сюда явно с корабля. Она привезена! Иначе мы бы нашли ее не внутри городского дома, а в гробнице. Ни одной гробницы мы еще в раскопе не находили, да и откуда ей тут быть, в оживленном городе, в греческой колонии?.. демос да охлос, да кучка аристократов, да торговцы, да моряки... Гермонасса никогда не была столицей никакого царства... да и надпись, друзья мои, не греческая, и даже не койнэ...

Все стояли молча. Затаили дыхание. Князь Всеволод покачал маску на руках, как ребенка. Обвел всех строгими глазами, насупил брови.

– Ну так, господа. – Не «друзья», не «ребята» – «господа»; значит, приказывать будет, он ведь теперь в экспедиции за начальника, пока Задорожного нет. – Очухивайтесь от потрясения. Да, видно, это нам суждено – пережить это. Такое выпадает на долю не каждому археологу. Коля Страхов! – Он поискал Колю в онемевшей толпе глазами. – Сними фотографии. Ты или... – он снова пошарил глазами, – Леон, у вас же аппараты. Маска будет у меня в палатке. Уезжать сейчас из экспедиции, транспортировать драгоценность до приезда руководителя я не имею права. Все должен решить Роман Игнатьич. По моим подсчетам, он скоро будет. По

крайней мере, неделя на исходе, он обещал быть в конце недели. Дисциплина должна быть на высшем уровне. Никаких истерик. Никаких поползновений, покушений. Никакой передачи информации. Все внутри лагеря. Зубы на замок. Если надо выболтать радость – нашепчите на ушко бычкам, Быче и Козе. Все все поняли?!

Ух ты, как зычно кричит, и вправду мог бы быть князем. Светлана вздрогнула, поежилась. Серега усмехнулся углом рта. Славка Сатырос шумно, как паровоз, вздохнула. Ежик шмыгнул носом.

– Все все поняли, Всеволод Ефимыч, – тихо сказала Ирена, – как тут не понять.

Светлана почувствовала жжение под лопаткой. Она чуть обернулась, скосила глаз. На нее умалишенным взглядом, мрачно и тяжело глядел небритый длинноволосый Леон. Она ощутила необоримое желание побрить его немедленно. Опасной бритвой.

Они правильно сделали, что поехали с Жермоном на субботний вечер в Керчь. Все остальные так ухайдакались, что предпочли керченское традиционное субботнее гулянье банальному купанью в море прямо под обрывом, где раскоп, и созерцанию таманских крупных звезд вместо пантикапейских. Они с Жермоном оторвались от всех, улизнули. Какое счастье свобода. Призрачная; сияющая; жалкая; великая свобода человека, которому Бог отпустил, в сравнении со звездами, лишь минуту жизни.

До чего у нее мятое платье, все помялось в рюкзаке, а в джинсах какое же гулянье по набережной. Да ведь можно и в джинсах; но кавалер придирчивый, да и она хочет побыть хоть чуть-чуть женщиной, а не «керамической дамой» над тазом с грязной водой. Кого ж еще было Гурию Жермону звать на гулянье, как не Светлану? Славка Сатырос тоже была девица с шиком, но ее портовый шик шибал в нос, столичный Гурий мог бы и рассердиться на ее «хиба так» и «чи шо», на острые кобылки коленики напоказ. Правда, были еще иностранки – Моника и Ирена, да к Монике было не подступиться, она была ученая старая леди, ее пригласил сам Задорожный, ее муж был именитый археолог, ее все боялись, она говорила по-русски не слишком бегло, работала мало, солнца не переносила, все пряталась в жару в палатке; а Ирена хлопотала вокруг своего мальчика: надень шорты, надень майку, читай к экзаменам книжки, не перегрейся!.. – какие фанатичной мамаше променады. А острый мужской глаз Жермона искал, щупал, вылавливал. Он выловил Светлану безошибочно. Красивая капустница в свободном полете. Он понял: она одинока и в соку, и никакой Коля Страхов тут ни при чем. Протыкнуться по вечерним улицам Керчи, что может быть невинней?.. Разве игра в «подкидного дурака» у костра на берегу. До смерти надоел «дурак». Красивая девушка достойна большего. Светлана на удивление легко согласилась. Ей тоже хотелось смены декораций. Ах, мятое платье, мятое! Она разглаживала его ладонями на коленях, на бедрах, плевала на палыцы, терла складки. Ни черта синтетики в натуральном шелке, мнется, будто собаки его жевали!

Они приплыли в Керчь уже на закате, пересекли пролив на верткой «комете», бегавшей два раза в сутки между Таманью и Керчью. Светлана, садясь в катер, больно стукнулась головой о железную дверь. «Ничего, это к счастью, – утешил ее Жермон, – найдем еще одну золотую маску. Царицу нашли, теперь надо царя!..» Она слабо улыбнулась. Когда они высадились на керченской пристани, Жермон намочил платок в морской воде, и она приложила его ко лбу. Лоб живой, не золотой. Хорошо быть золотой маской, у тебя ничего не болит.

Куда пойдем?.. Да куда хочешь. Светлана не нашла ничего более оригинального, чем посидеть на палубе плавучего ресторана «Фрэзи Грант». Они поднялись по трапу, по укрытым коврами лестницам на нос корабля, стоявшего на приколе, превращенного в модную харчевню. Разбитной официант подскочил к ним, изогнулся в поклоне: «Осетринки, икорки... свежих абрикосов?.. Что пить будем?..» Жермон, усмехаясь, глядел на Светлану. Да, девочка бедная, это сразу видно, за версту. Она будет стесняться. Комплекс нищеты. Не скоро она от него избавится. Да, так и есть. Она потупилась, потом подняла глаза: «Ничего не надо, Гурий,

прошу тебя, возьми два кофе... можно с коньяком... и с лимоном». Глаза-глазищи. Он впервые видел такие. Большие, широко распахнутые, как у говорящей куклы, серо-зеленые, как прозрачные озерца в осеннем лесу. И вся она была не летняя, знойная – осенняя, северная. Ему хотелось запустить руку в ее русые, чуть с золотишкой, с болотной празеленью, волосы, погладить их. Ему сейчас до полусмерти захотелось этого. Брось, Гурий. Ты столько баб в жизни переглядел и перещупал. Зачем тебе эта нищая медсестричка. Ты уже женился, обжигался, нарывался. Лучше быть свободным. И ее оставь свободной. Но поимей. Ты же богат, и тебе все принадлежит. И она?! И она.

А она, она сама знает об этом?!

– Хорошо, дарлинг. Кофе так кофе. Ну, к кофию два бутербродика с икоркой. Мы же все-таки на море. И мы отдыхаем.

– Я не дарлинг. Я Светлана.

– Скажите пожалуйста, какие мы капризные. Ты хоть знаешь, что значит это словцо?... я же ласково...

– Знаю. Я не неграмотная. Я...

– Ты просто маленькая стеснительная девочка. Раскрепостись и наслаждайся. Сегодня вечер наш. Не могу поверить, что ты поешь рок-музыку! Ведь там же надо так обнахалиться на сцене, так вывернуться наизнанку... а ты такая скромная...

Светлана и Жермон уселись за столик на самом носу, так, чтобы видеть черную, всю в синих и золотых масляных бликах, колышущуюся под вечерним бризом воду, огни набережной, огни звезд над головой. Светлана взяла в пальцы ножку ресторанного бокала, Жермон, будто бы небрежно, бросил руку на крахмальную скатерть и коснулся рукой ее руки.

– Совсем наоборот. – Светлана осторожно отодвинула руку. – Если ты сдерживаешь страсть, она воздействует сильнее. Необязательно вихляться и орать, размахивать руками. Ты на сцене все должен делать голосом. Так Горшок говорит.

– Кто, кто?.. Горшок?..

– Да, Горшок. Руководитель группы «Ироникс». Классный композитор, между прочим. У него будущее.

– А у тебя?..

Официант принес кофе и два хиленьких бутерброда с черной икрой на тарелочке. Жермон презрительно взял за хвостик увядшую укропную ветку.

– Керчь, юг, жалеют овощей!.. смешно... – Он швырнул траву за борт. – У тебя-то, детка, есть будущее?

Светлана поднесла к губам чашку с кофе, вдохнула коньячный запах. Жермон увидел, как она густо, по-девчоночьи, покраснела. Вместо ответа она спросила его:

– Чем ты занимаешься в жизни, Гурий?..

Девочка переводит разговор, похвально. Он стукнул чашкой о ее чашку, будто чокнулся.

– Может, винца?.. Легонького, сухенького?.. Мы же гуляем?.. Я занимаюсь всем, чем не разрешено заниматься. Такова моя планида. Я играю в политику и делаю на этом большие деньги. Официант, вина!.. Принеси хорошего абхазского «Псоу», парень... С него не задуреешь, а вкусное... Деньги, слышишь, детка, деньги. Сейчас тот, кто не умеет делать большие деньги, погибнет. Я не хочу сыграть в ящик. Я хочу жить. Правда, есть тут небольшой риск. Тех, кто начинает делать слишком большие, на взгляд соседей, деньги, отстреливают. И отстрел людей – это сейчас вид спорта, ты в курсе. Охота. Охота на кабанов. Охота на лис. Охота на изюбря. Охота на крыс и мышей – есть и такая. Охота на крокодила. Охота на пиранию. Охота черт знает на кого. Есть охота и на самого опасного зверя. У него семь голов, двадцать ног, из пасти валит огонь, а с хвоста сыплется золотая чешуя.

– На дракона, что ли?..

– Пусть на дракона. И эти звери все, дарлинг, – люди. На самом деле все это люди. А еще верней, они все прикидываются людьми, внутри же у них сидит в каждом зверь. Все оборотни. Все класают зубами. Все хотят друг друга пожать.

– И ты тоже оборотень?.. Ты тоже... живешь в этом зверинце?..

– В этой дикой саванне, дарлинг, в прерии. Спасибо, парень!.. то самое вино, правильно, не разливай, я сам даме налью, не хватит бутылки – еще закажем... запиши... ну, тогда еще бутербродиков и твоих чертовых свежих абрикосов... здесь им еще рано, из Анапы, что ли, привезли?.. – Жермон налил вина в бокалы из откупоренной бутылки. Светлана задумчиво глядела на его жесткие, как клещи, руки, разливающие вино, на черно-золотую игру воды за бортом. – Я организую новые партии, добываю деньги на их раскрутку, влезаю в правительство, влезаю в Думу, и мне хорошо, я имею то, что имею. Я всегда хотел власти. Еще тогда, ребенком, когда мой отец бросил мою мать и стал губернатором славного города Сочи, здесь, на юге. И я сказал себе: я захвачу власть побольше, покрупнее, папаня!.. я буду вращаться на орбите повыше тебя, ты головенку задерешь, чтобы меня наблюдать...

– И как?.. Наблюдает?..

Он поднял бокал. Кинул в Светлану ножевой прищур.

– Он умер год назад. Этим летом година.

Выпил, не чокаясь. Светлана тоже отпила из бокала.

– Зачем ты здесь, Гурий?..

– У меня ощущение, дарлинг, что я ужинаю не с очаровательной девушкой, а со Штирлицем. Ты еще медсестра, не врач, и рано тебе собирать анамнез. Твое дело вкалывать укольчики в попку. Однако ты и впрямь тихая нахалка!.. Не твое, конечно, дело... Я оплачиваю эту экспедицию. Я оплачиваю тебя, Задорожного, Ирену, Всеволода, Серегу и всех остальных охломонов со всеми потрохами. Транспорт, вывоз находок, работу реставраторов в музее, выставку новых поступлений, рекламу... Я скрытый шеф. Я исторический мафик. Ты довольна?.. Твое любопытство удовлетворено?

– Это... у тебя... хобби?..

– Много будешь знать – скоро состаришься, дарлинг. А я хочу, чтобы ты не старела. Потанцуем?..

Обволакивающие волны музыки набегали изнутри корабля. Редкие пары кружились по дощатому корабельному настилу, застланному красным ковром. Вино ударило Светлане в голову, она коснулась щекой плеча Жермона. Он дышал ей в затылок.

– И ты всю жизнь будешь играть в политику?..

– У мужчин свои игры, детка. Не лезь в них. Женщина должна хорошо стряпать, великолепно делать уколы и танцевать в постели ламбаду и самбу. Большого ей не дано.

– А Тэтчер?.. а Хакамада?.. а Олбрайт?.. а...

– Дуры бабы. Весь мир смеется над ними. Все равно все, что делается за кулисами мира, делают умные мужики.

– Звери, ты хочешь сказать. А ты какой зверь?..

– О, я самый страшный зверь на свете, дарлинг.

Он все сильнее притискивал ее к себе, чувствовал под тонким шелковым платьем ее груди, жар ее живота. Залетная медсестричка, керченский ресторанчик, ночь и вино! Красиво жить не запретишь. Как же он отдыхает от московского ужаса. Еще месяц блаженства – и он окунется снова в родной вертеп. Вацлав не похвалит его за похождение. Вацлав не похвалит его за задержку. Он обещал быть в Москве в конце июня, а торчит в Тамани уже пол-июля. Нужна ему похвала Вацлава! Он лишь контролирует его жену. Да и Задорожного надо из Турции дожидаться. Время идет. Время капает с ложки медным медом, медленной медью. Золотыми каплями черноморских звезд. Понт Эвксинский, твою мать. И эта медсестричка, эта кукушечка... какие глаза, как блюда...

Они не допили бутылку. Бутерброды и абрикосы так и остались лежать на тарелке. Жермон сунул под тарелку счет и зеленую бумажку. Официантик немедленно подскочил, увидя долларовую купюру, раскосые глазки его загорелись: сдача, господа, разве вы не... Жермон уже стаскивал Светлану вниз по корабельному трапу. Гулять, гулять! Сегодня их ночь! Они уже опоздали на последний катер, уже... лучше поздно, чем никогда...

Развалины Пантикапея встретили их недружелюбным, устрашающим молчаньем. В лунном свете призрачно мерцали ребристые, будто срезанные великанским ножом, обломки колонн, украшавших некогда царский дворец. Митридат, царь Понта, построил сей дворец для любимой жены своей, Ифигении. Умерла ли Ифигения молодой?.. Вынянчила ли внуков?.. Звездное покрывало, сухая душица, крымский дерн прикрыл ее кости, и ветер не выветрил их. Луна выкатилась на полночный небосвод, полная, победная, красно-золотая, как спелое яблоко. Светлана протянула руку. Подставила Луне.

– Ее можно взять на ладонь, смотри...

– Ты пьяна, дарлинг. Ты удивительно пьяна. Ты страшно хороша.

– Страшно?..

– Женщина, это тоже зверь. Она страшна для мужчины. На древних фресках бабу всегда изображали верхом на звере. На каком хочешь. На волке, как Лилит... и она вцеплялась ему в холку... на коне, само собой... на тигре, в Индии... на льве...

– Ты политик или историк?..

Он обнял ее за плечо. Они брели по камням, сбивая каблуки. Ее шелковую юбку задрал ветер с моря, обнажил колени. Она ни о чем не думала. Ей было страшно и весело. Она впервые была с мужчиной на берегу моря. Дожить до двадцати годов... и целоваться только со школьными прыщавыми парнями, и лишь целоваться, в то время как ее сверстницы влюблялись и разлюбливали, делали аборты, закатывали любовные истерики, рожали, изменяли мужьям... Ты просто старая дева, Светланка, ну что ж у тебя так бьется сердчишко, как у зайца... Женщина – это никакой не зверь, это просто маленький жалкий зверек, и он дрожит и трясется, и ждет, и надеется, и верит...

Он же еще не любит, слышишь. Он же еще не любит.

– Я мужик. – Он взял ее за плечи и повернул к себе. – Какая Луна, черт бы драл. Как твои волосы блестят под Луной. У тебя глаза как изумруды. Как у кошки. Ты кошка. Я понял. Ты львица.

Она дрожала уже очень сильно. Он вминал пальцы в ее загорелые плечи. Его рука скользнула по ее груди, вниз. Ветер помог ему. Пальцы отогнули паутиный шелк. Она почувствовала живой пятипалый ожог на напрягшемся животе.

– Гурий!.. пусти...

– Мы все равно опоздали на катер. Не кричи.

Она сама не поняла, как он согнул ее, сломал, заставил опуститься на землю. Спинай она ощутила острые камни. Обломки всесокрушающего времени. И они, двое, мужчина и женщина, на камнях, на берегу. Колонна Митридата нависла над ними. Звезды вошли в ее глаза, как пытошные иглы. Чужие губы и зубы вобрали под шелком в себя ее вставший дыбом сосок. Пьяное вино горечью и блаженной болью разлилось по телу.

– Нет!..

– Да...

Его рука раздвинула под юбкой ее бедра. Из последних сил она вцепилась в его запястье, отталкивая его. Браслет из живых отчаянных рук, мучительный браслет.

... ..

Тэк-с, закурим, закурим. Еще одну – и все. Еще одну, последнюю...

Разграбил монастырь в Ладаке. Пожил на раскопках скифских курганов. Скифское царское золото в музеях – капля в море в сравнении со скифским золотом, что он пригреб себе под живот, утянул, продал на подпольных аукционах в Москве, Варшаве, Париже, Нью-Йорке. Золотые звери, львы, олени, кабаны, золотые кони с закинутыми в скачке головами, золотые рыбы, сплетшиеся хвостами в любовной игре. На его счету – стащенные из-под носа у разгильдяев-индийцев украшения Великих Моголов, хранившиеся пуце глаза в Тадж-Махале. Драгоценные сибирские староверские иконы в золотых окладах – без счета, он эти семечки, этот мусор и не считал; хотя на Кристи за одну его ужурскую иконку святого Иннокентия мистер Ефремида и давал десять миллионов баксов. Нет, Вацлав Кайтох отнюдь не был дилетантом. Он презирал дилетантов. Он был виртуоз, он был бешеный, отчаянный игрец на опасном, как лезвие, инструменте. Инструмент маячил в ночи – страшной виселицы, пули. Инструмент назывался – Время, и Время стоило так же дорого, как его собственная, Кайтоха, бесценная жизнь.

Он жадно поднес сигарету ко рту. Втянул дым. Напивавшиеся вмиг табаком тоскующие легкие блаженно расправились. Каждый оттягивается по-своему. Он и пил водку, и ширялся по молодости, по глупости. Он понял: если хочешь стать хорошим грабителем могил, надо быть в отличной форме. И он разрешил себе только куренье. Пачки «Кента» ему хватало на день. Это была его норма, как овес в торбе у морды коня, больше он себе не позволял.

Да, он был не кустарь-дилетант. Он прилежно учился. У него были хорошие учителя. Взгляд его блуждал за окном офиса на Новом Арбате; он рассеянно следил, как бежали, как водомерки, внизу, по шоссе, машины, как мельтешили люди, торопливо разворачивая над головами зонты – начался дождь, изнывающая от жары Москва наконец-то напьется и задышит, влага прибьет пыль. Время, время. Пыль времени, грязные дороги столетий. Неужели когда-нибудь и этот чертов мегаполис исчезнет под слоями погребальной земли, как новая Троя. И кто-нибудь, какой-нибудь безумный Шлиман, ее раскопает. У него были отличные учителя, и он прекрасно знал, что среди грабителей древних могил были не грязные бандиты – просвещенные монархи, знаменитые ученые, крупные политики, международные авантюристы. Кайтох, ты тоже авантюрист. Авантюрист?.. Он усмехнулся. Затянулся. Пятерней откинул прядь свисающих на лоб сивых волос. Старый сивый мерин, нет, ты не авантюрист. Ты прожженный политик, ты холодный, как лед, жестокий профессионал. У тебя блестящие помощники. Твоя правая рука – Бельцони. Твоя левая рука – Жермон. Твоя левая пятка, Кайтох, – ну, что греха таить, – твоя верная женушка Ирена, дура баба, дай Бог ей здоровья, сынка на ноги поднять. А твоя пушка у тебя в кармане... да, конечно, Касперский. Доктор Касперский, натасканный, как собака, на запах древнего золота. Ты посылаешь его на самые грязные дела. Там, где нужно просто прицеливаться и стрелять. А как же в нашем деле без ствола?.. или без ножа... Нож, как тысячеletья назад. Его губы опять pokrивились в ухмылке. Еще бы он Касперского луком снабдил и стрелами в колчане. Вот бы клиенты поохотили всласть. Перед смертушкой.

А этот пройдоха Бельцони, возомнил себя его конкурентом. Да если понадобится, он этого конкурента вырубит одной левой. И он не встанет из нокдауна. Он превосходно знает, что Бельцони работает на английского консула в Каире господина Сола Тернера, брата знаменитого Теда Тернера, владельца крупнейших мировых СМИ; и у проклятого итальяшки есть еще под мышкой один живчик, синьор Дроветти, нефтяной магнат, в свою очередь грабящий древние восточные захоронения по поручению французского консула. Длинные щупальца европейских дипломатов, Кайтох! Они все пытаются перебежать тебе дорогу, хандовый поляк. Армандо Бельцони наворачочал дел прямо у него, Кайтоха, под носом. Он и не уследил. Он, такой тиран и педант... Армандо обирал памятники, как медведь малинник. Он тащил, как суслик, себе в нору все, что плохо лежало – от драгоценных египетских синих и зеленых лазуритовых скарабеев, от золотых фараонских уреосов до огромных саркофагов хеттских вождей, затерянных в

выжженных анатолийских полях. Бронзовые фигурки, литые золотые и серебряные рельефы, головы владык, изогнутые в предсмертной судороге тела животных, раненных копьями, стрелами... Бельцони крал без зазрения совести сокровища из *его*, Кайтоха, могильников и продавал выгодно, удачно – в Берлинский музей, в Британский музей, в Лувр, в частные коллекции Рокфеллеров, Тернеров, Гуччи, Крегеров, Фордов. Армандо ухитрился стянуть даже колокола из монастыря в Ладаке – золотые колокола, что Кайтох припрятал, перед отправкой в Россию, у тибетского старика-ламы. За Бельцони не заржавело убить старика. Своими ли руками он это сделал?.. Какая разница. Лама с простреленным черепом лежал в Ладаке на пороге монастыря, Бельцони с колоколами в чемодане трясся в транссибирском экспрессе «Владивосток – Москва». Черт с ним. Пусть гуляет, бесится, крадет по мелочам. Если цапнет что покрупнее – получит по рукам. Верней, больше не получит ничего и никогда, ибо навек закроет свои прекрасные итальянские глазки. У Кайтоха есть надежное убежище – Швейцария. Швейцария – его крыша. Банк в Цюрихе. Вилла в Монтре. Нейтральная страна. Никто не докопается. Если что – он будет жить там с Иреной под другим именем. Швейцарский паспорт смастерить и купить – копейки. Он с Иреной уже обеспечил не только себя и Георгия, но и своих далеких потомков. Того и гляди, в необозримом будущем земляне учредят Кайтоховскую премию, на манер Нобелевской. За что ее будут давать?.. За открытия в археологии?.. А может, за удачный грабеж сокровищ?..

Тимурленг, Железный Хромец Тамерлан, тоже был вором. Он тащил из подлунного мира себе в Самарканд все, что смог наgrabить, унести, увезти на спинах степных лошадей. Из Бруссы себе в столицу он приволок бронзовые двери, украшенные золотом и эмалью, с изображением апостолов Петра и Павла. Эти высокие двери – такие высокие, что в них можно было въехать на коне, – он приделал к войлочной юрте своей любимой жены. Что бы ему, Кайтоху, приделать к заднице ненавистной Ирены?.. Он устал от нее за столько лет. Но менять жену не захотел. Старой кастрюле – старая крышка. Георгия жалко. Мальчонка любит мать. А он слишком любит Георгия. Жаль, он не нарожал еще детей от разных баб. Так ли поступали библейские патриархи, грозные древние цари! Иеровоам родил Еноха, Енох родил Ахава... Вацлав родил Георгия. Одного Георгия, хоть и переспал с половиной бабенок старушки Земли. В своих странствиях по свету он овладевал разномастными женщинами. В Тибете ему подсовывали малюток-таек в подпольных борделях. Лучше полек и французенок он никого не пробовал. Изящны, тонки, умны в постели, загадочны – никогда не покажут мужику ни краешка грязного белья, лишь таинственные белоснежные кружева.

Его учителя... Он учился у Тамерлана и Наполеона, разграбившего пол-Египта, у Гитлера и Геринга, расхитивших пол-Европы в заварушке Второй мировой. Что там Батый и Тамерлан! Он-то все знает про тайные хранилища Германии, Австрии, Швейцарии. Он поднаторел в своем страшном ремесле, и его находила удача за удачей. Удача ждала его всегда – там, завтра, за поворотом, на восходе солнца. Он тщательно исследовал Анатолийское плато в Турции – место рожденья и гибели многих цивилизаций и городов древности. Троя, дивная Троя! Ты тоже там цвела и шумела, рядом... Колыбель человечества? Люди всегда искали ее. Быть может, каменная колыбель затаилась под землей в Анатолии, и Время спало в ней, шевеля костяными ручонками, вздымая ребра детского скелета в мерном дыханье. Быть может, она ждала того, кто найдет ее, в горах Саян, в Тибете, в сердце Азии. Найти и завладеть. Это воля мужчины. Земля – женщина, она всегда украшала себя сокровищами. Люди нагружали драгоценностями, отправляя в Мир Иной, любимого вождя, дорогую жену, усопшую милую мать, думая, что там, в Ином Мире, побрякушки понадобятся умершим. Как жестоко ошибались бедные люди. Сокровища надобны живым. И лишь живым. Он тоже будет мертвым, Вацлав Кайтох. И, пока он не стал мертвецом, не превратился в гремящий костяной мешок – грести, грабить, присваивать, овладевать! Владеть. Вот высшее счастье. Выше счастья власти и воли ничего нет на земле. Никакая любовь, никакое совокупленье, содроганья зверя о двух спинах

не сравнятся с властью. Тут тебе и вся любовь, и весь мир. И все деньги мира, россыпи золота, ночные золотые огни в крошечной тьме внизу, там, у подножья многоглазой каменной пирамиды, упирающейся в черный зенит.

Он, Кайтох, откроет свою Трою. Это будет только его Троя. Только его. Он никому ее не уступит. Он убьет Бельцони, если он сунется. Он отшвырнет локтем Жермона. Он разрушит любые крепости, стоящие на его пути. Это его путь. У каждого свой путь, и свернуть с него – не во власти человека.

Он докурил сигарету, замял в пепельнице; поднес пропахшую табаком руку ко лбу и перекрестился по-католически – слева направо, всей ладонью, потом прижал ладонь к губам. Матка Боска видит все его кровавые дела; все его копошение в золотых игрушках; и до сих пор она не покарала его, и Езус Христус тоже. Главное – не забывать заходить в костел, что в Большом Гнездниковском переулке. И ставить свечу-громницу. В конце концов, он старается не только для себя. Он спасает то, что другие люди, звери и варвары, могли бы уничтожить, изрубить на куски, сжечь без следа, взорвать, бросить на дно моря.

Макинтош на плечи; беглый взгляд на часы на руке. Касперский в Турции, он занимается Задорожным; шофер опаздывает. Когда Касперский в Москве, он подвозит его домой. Красивый у них с Иреной дом на Каширке, ничего не скажешь. Поместье. Рядом американский поселок Росинка, там живут те, кто работает в посольстве. Посол – его друг. Они с Иреной иногда ходят к Кеннетту Фэрфаксу есть жаренное на мангалах мясо и пить холодное пиво, доставая банки из ведер со льдом. Ежи будет учиться в Нью-Йорке, решено. Пусть глотнет заокеанской цивилизации. Старая Европа – сама уже почти могильник. Вот уж он займется раскопками. А Америка девственна. Она еще свежа, дика и нетронута. Три небоскреба в Нью-Йорке и парочка ракет в Хьюстоне – еще не дефлорация. Америка ждет того, кто овладеет ею. Это должен быть человек, самый богатый в мире. И самый умный. Ежи дурак. А у него, у Кайтоха, уже слишком мало времени. Надейся, поляк, по-русски на авось.

Дверь хлопнула. В погруженную в летний сумрак комнату вошел человек. Дождь шумел, нежно шуршал за окном. В открытое окно залетал острый запах тополиной влажной смолы.

– Машина внизу, господин Кайтох.

Он поправил перстень-печатку с алмазами на безымянном пальце. Италия, Венеция, шестнадцатый век, кольцо дожа. Подарок подхалима Бельцони.

– Идем, я уже проголодался.

Он спустился с шофером вниз с пятнадцатого этажа в бесшумном лифте. Ком подкатил к горлу. Захотелось плакать. Зачем он вспомнил Ирену. Ее не теперешнюю, нет, – девочку с косичками на концерте Эдиты Пьехи, которую он подцепил и затащил к себе домой, изнасиловав в первый же вечер.

... ..

Наедине с сокровищами неведомого царства, в тюрьме, взаперти, жить, дышать, есть, спать. Это так трудно. Это же невозможно, Боже.

Крестьянский турецкий сундук, обитый кованой медью. Прямо как у нас в России. Он забывался на миг тяжелым, беспросветно-черным сном, просыпался, весь в поту, задыхаясь – в камере было очень душно. Окна не открывались. Стекла были зарешечены. За окнами шумел на жарком ветру сад. Хотя бы глоток воздуха, ветра. Он обливался потом, чертыхаясь, стаскивал с себя и отжимал рубаху прямо на пол. Ходил по камере голый, сначала в джинсах, потом в плавках. Проснувшись, сразу бросался к сундуку. Господи! Кольца, нанизанные на кривую медную проволоку, княжеские перстни. Тысячи лет назад мастера-ювелиры могли делать такие шедевры, что и не снятся нашим Левшам. Громадная шпатель, вставленная в

золотую оправу в виде распахнутой львиной пасти, потрясала его. Лев держит в зубах сгусток крови, кусок жизни! Чье-то красное, живое сердце... все страдание и весь праздник видны напросвет... Вот чаша, всем чашам чаша... Как потир из Троице-Сергиевой лавры, только еще массивнее, еще царственной... Он бережно, как ребенка, брал чашу в руки. Налить бы в нее вина. Холодного вина. Или колодезной воды. И он выпил бы воду, как лучшее вино. Он подбегал к двери, неистово стучал, кричал по-русски: «Сволочи, принесите мне воды!» Раздавался шорох, переговариванья, смешки. Приходила девушка – не Хрисула, другая, безмолвная турчанка, до самых глаз закутанная в полупрозрачную черную паранджу, – приносила на замызанном подносе кувшин с водой, пахлаву, тонко нарезанное вяленое мясо. Его кормили хорошо, даже слишком хорошо. Он не терпел восточные сладости, а его заваливали сладким. Когда фарфоровый истукан просовывал в дверь рожу и, сладко улыбаясь, справлялся: как там наши научные изысканья, профессор?... – он, голый, весь мокрый и блестящий от пота, стоя над сундуком, в окружении разложенных на полу рукописей, листов из блокнота, начатых и законченных рисунков, торопливых бешеных записей, кричал ему: «Забери назад все свои финики, сука!.. Свари мне лучше тюремную баланду, как в славной русской каталажке!.. Как в ГУЛАГе!..» Он обнаружил, что умеет материться. Да, Роман Игнатьич, вот так ломаются люди. Ну, врешь, меня голыми руками не возьмешь. И я не сломался. Я выкарабкаюсь отсюда. Я собираю информацию для людей, которые, сволочь ты фарфоровая, щенок породистый, займутся вами.

Он склонялся над сундуком. Брал в руки карандаш. Клал на голое колено картон, листок бумаги, выданный из альбома. «Никон» у него отобрали еще тогда, когда эта шлюха привезла его сюда. Вот он, ее витой браслет, в сундуке. Она, улыбаясь, сняла его с руки и положила в сундук. Медленно, насмешливо, неотрывно глядя на него, ему в глаза.

Он досконально изучил браслет. Он несомненно царский. Он не греческий, нет. Он рисовал его, рисовал – крупные витки металла, золотую косичку, щербинки письмен, бегущего льва со всадником на спине. Лев и всадник! Или – всадница... Он всматривался в фигуру, сидящую верхом на льве. Кто же это?... Охотник?... Божество?... Повернув неожиданно браслет к тусклым лучам керосиновой лампы – в нее турчанка аккуратно, каждый день, подливала керосину, – он увидел внезапно, как блеснули в мрачном тоскливом, будто подземельном, свете длинные волосы, развевавшиеся за плечами, за спиной всадника. Женщина?!.. Он поднес браслет ближе к глазам. Да! Так и есть! Как же он не понял – нежно выгнутое бедро, маленькая стопа, длинные тонкие пальцы в гриве зверя... Богиня... или царица?... Почти нет на ней украшений... боги всегда изображались без украшений, их красота исторгалась из их нетленных тел сама собою... стоп, стоп!.. Рассмотрите ее голову, Роман... видишь, видишь – обруч?... диадема... еле видный ободок вокруг золотых волос... Диадема, знак царской власти... Царица, владычица неизвестного, забытого государства...

Он точно занес на листы ватмана, в альбомы и блокноты все письма, все знаки, встречавшиеся на золотых сокровищах. Непонятный, мертвый язык, который не знал ни он, ни кто другой в мире. Он жадно пил из кувшина, вознося его над головой, выгибая шею, двигая кадыком. Он жрал это чертово вяленое турецкое мясо, лопал икру, что приносили ему в маленьких серебряных вазочках, давился еще теплыми лавашами, с ненавистью глядел на горсти рассыпанных по подносу фиников. Клинопись, иероглифы, тайные клейма! Господи, он забыл переписать еще вот этого золотого зверя. Кажется, бык; рога мощные, как у тура... или горного козла-архара. Нет, бык, судя по могучей груди, по тонкому хвосту, взвитому над сухими задними ногами. А что это под ним... еще золотая фигурка... лев! Ну да, лев! У какого древнего народа лев был божеством?! А?!.. ты, профессор кислых щей, а ну-ка, поднатужься... львы здесь, в Анатолии?... почему бы нет, Африка рядом...

Сколько времени он в заточении?... Неделю?... Больше?... Сколько еще сокровищ не зарисовал, не рассмотрел он?... Шлиман, увидя впервые сокровища царя Приама, так не рыдал, стоя

на коленях перед ними, как перед святыней – от радости открытия, от ужаса бессилья... Он уже о многом догадался. Вещи все были из одного могильника. Похоронены были владыка и его жена – вещицы в саркофаге, откуда наверняка они перекочевали в сундук, принадлежали и мужчине, и женщине. Золотые наконечники копий, колчаны, изукрашенные золотом и аметистами, соседствовали с женскими золотыми гребешками, с гривнами, одеваемыми на грудь, даже с маленькими ножными браслетами – перисцелидами, что надевались на женские щиколотки, – украшенными крохотными золотыми колокольчиками. Царица шла, и при каждом движении браслеты издавали легкий звон... Боже мой, Боже...

Он запустил руку в сундук. Дно сундука было уже близко. Все драгоценности, рассмотренные, зарисованные и описанные им, уже лежали по всей каморе, где угодно – на полу, на колченогих стульях, на столе, на подоконниках. Оставалось совсем немного. А это что такое?... Скелет... Они вытащили кости людей, но не смогли выбросить кости животного... Собачий скелет. Маленький верный пес. Любимая собака царской четы. Ее тоже положили вместе с ними.

Задорожный осторожно выпростал кости из груды золота, сложил на бумагу. Когда-то они были внутри живой, радующейся жизни плоти, собака бегала, кусала врага, приветственно лаяла, ласкаясь к хозяину. Скажи, собака, кто был твой хозяин?... Роман морщил лоб, пытаясь понять. Вот крошечная фигурка женщины-жрицы. Одежда странная. На Крите, он знал, носили юбки и открывали наголо грудь. Здесь жрица закутана в кусок ткани наподобье индийского сари, но это не сари. Какая простота! Никакой вычурности, никчемности... Нет, это не греки, не египтяне, не хетты, хотя кое-что похоже, похоже... О, серебряный кинжал, на рукоятке – изображение прыгающего в море дельфина... И ни одного изображения, изваянья корабля! Морская цивилизация – без кораблей, без воспеванья моря?... Греки тоже любили дельфинов, обожествляли их, но рисовали их немного иначе... Вот сосуд, формой напоявший ему гончарные изделия из раскопанного государства царя Креза... Странные изогнутые светильники в виде турьих рогов... Золотое нагрудное украшение – такие, отправляясь на смертную битву, надевали воины Урарту... Нет, это и не Урарту! Другой узор! Иные знаки!

Что же там еще, что еще?... Он заглянул в темный сундук. По его обнаженной спине пот тек уже ручьем. Он то и дело стряхивал капли пота с лица. Его седые волосы, отросшие в застенке, сияньем встали вокруг головы. На дне сундука лежал большой золотой слиток. Он протянул руки, взял, вынул. Не слиток! Маска!

На него глядело надменное золотое лицо. Властный прикус тонких губ. Высокий лоб. Красивый вырез ноздрей крупного, гордого носа. Глаза узкие, длинные, чуть скошенные к вискам, широко расставленные. Вокруг лба – диадема с тремя зубцами. Лицо, лик, личина... Он дрожащими пальцами, боясь поверить себе, погладил маску.

Он глядел на лик древнего царя, а царь слепыми золотыми глазами глядел на него. Они глядели друг на друга – живой и мертвый.

И Роман понял, что глядит в зеркало.

Царь был как две капли воды похож на него.

Он был как две капли воды похож на царя.

Ему стало плохо. У него все завертелось перед глазами. Он хотел положить тяжелую маску обратно в сундук – и не смог. Он ничего не понимал. В его висках билось: да, да, да, он нашел себя, это он, это он. Да, он жил тогда. Да, он жил всегда!

Люди не боги, господин профессор Задорожный, ой, не боги. Ты загнул, казак, не ту оглоблю. Древний царь неведомой земли! И ты! Три отрока горели в печи Вавилонской, Сусанна купалась в бассейне, а старцы глядели на нее... А вы были братья, там, на небе, как две звезды. Ой, бредишь ты, Роман Игнатьич! Рюмочку бы тебе сейчас хлопыстнуть... родной горилки, с красным перчиком...

Дверь стукнула. В камору вошел тот, гладкорожий. До чего выхолен, гад, а. В руке револьвер. Он поигрывал им, мял его, как эспандер.

– Хороша мордочка, ты не находишь, профессор?.. – Фарфоровый манекен ткнул стволом револьвера в золотую скулу. – Ты уже определил, кто это?.. долго, долго ты копаешься... запоминаешь во всех подробностях все?.. все равно тебе спецы не поверят, а народ ты заинтригуешь... народ, он падок на рекламку, как муха на мед... ты понял, почему мы тебя тут держим, знаменитость недорезанная?!..

Задорожный, подняв голову от маски, что держал по-прежнему в руках – пальцы побелели от напряжения, – тупо, тускло поглядел на красавца. Он молодой, а ты старый, Роман. Все его – при нем. Вся жизнь – при нем. А у тебя – уже на дне дорожной торбы. На дне сундука. Вот она вся, твоя жизнь – твоя золотая маска.

– Я попрошу тебя, подонок, выпустить меня отсюда сразу же, как я закончу изучение этой уникальной...

– Не бойся, папаша, все твои записки сумасшедшего отксерокопируют и к делу пришьют! – Фарфоровый откровенно смеялся. Револьвер блестел черно, лаково. – Если ты не допер еще, что к чему, значит, ты совсем дурак... или святой!.. Вас в Совдепии всех святыми воспитывали... А мы не хотим возносить хвалы властелину, когда тот нас колесует. Мы сами хотим его колесовать. И сами будем властвовать. Да мы уже владеем всем. А вы, идеалисты...

– Да, мы идеалисты. У нас была Вифлеемская звезда, пащенок, – холодными губами проговорил Роман. Положил маску на дощатый стол. – Не красная, гад, запомни – Вифлеемская. К какой звезде идете вы?! К Богу или к маммоне?!

Фарфоровый, глумясь, приставил револьвер к его виску. Роман вздрогнул от прикосновения ледяного дула.

– Ты, кончай забавляться...

– Кончаю. – Красавчик отступил на шаг, оценивающе обмерил глазами голого, потного, в одних плавках, Романа. – Жизнь бесконечна, запомни. И в ней все забавляются. Каждый кейфует, как может. Хочешь поразвлечься, профессор?.. – Он протопал к двери, припечатывая половицы тяжелыми, похожими на военные, ботинками, резко распахнул ее, свистнул, будто подзывал собаку. На свист отозвалось шуршанье ткани. Чьи-то ножки просеменили по коридору. – Я так догадался – тебе приглянулась наша Хрисула, так получи ее... ты поработал славно, отдохни, ты заслужил... это тебе вместо вечерних фиников...

Задорожный отшатнулся. В дверь вошла гречанка. На ней была длинная черная шелковая юбка, расшитая по подолу золотыми звездами. Грудь и спина были обнажены. До пояса на ней не было надето ничего.

Критский наряд, прошелестели его враз пересохшие губы. Они нарядили ее древней критянской. Зачем этот маскарад?.. Ну да, это же ее работа... каждый отрабатывает свой хлеб, как умеет... ей, бедняжке, платят за это... Господи, каково же быть женщиной на этой земле.

– Оставляю вас вдвоем, голубки, поворкуйте, – хохотнул фарфоровый, шагнул за порог. – Замечаю время. Если что не понравится – ты нам, папаша, скажи. Исправим.

Дверь нагло хлопнула. Они остались в каморе одни.

Он подошел к Хрисуле, подошел близко, дерзко. Его грудь была гола и мокра. Ее – поднималась часто, порывисто. Вокруг сосков мерцали темные круги. От ее тела сильно пахло розовым маслом.

Они стояли близко друг к другу, и он чувствовал ее тепло. Она слегка приоткрыла рот, глядя на него, и под губой у нее чуть поблескивали зубки, как у зверька.

– Ты давно на них работаешь?..

Он спросил это тихо, по-английски. Она не опустила глаз. Он рассмотрел ее глаза. Карие радужки с золотыми крапинами. Чуть синеватые белки. Веки чуть скошены к вискам, как у царской маски.

– Давно, – выдохнула она. – Это русская антикварная... археологическая мафия. Они изловили меня в Стамбуле, в ресторане. Они тогда работали в Греции. В Греции раскопали уже все, что можно раскопать. Турция была еще терра инкогнита. Турция дикая, тут много диких, заброшенных мест, как в России, пустынные пространства. Хеттам было где разгуляться. Османцам тоже.

Она смотрела на его голую грудь. Подняла руку, провела ладонью по выпуклой пластине мышцы. Рука заскользила, как по маслу.

– Ты вспотел...

– Не вилай. Ты не ресторанный шлюшка. Ты хорошо образована. Где ты училась?.. В Чикаго?.. В Виндзоре?..

– Тебе незачем это знать. Шлюхи тоже могут быть весьма образованы.

Он вспомнил знаменитых гетер – Аспазию, Таис, Сапфо, Лесбию. Устыдился. Почему бы девочке не знать английский, не знать историю своей родины. Она же не вокзальная подстилка за динар. Она отловила его в поезде, сыграв не хуже, чем в голливудском кино. А сейчас? Она играет и сейчас?.. Или она пришла к нему потому, что хочет его?.. Она не снимала руку с его груди. Рука скользила все ниже. Она с ним одного роста. Как все пошло, плоско, страшно. Вон оно, его ложе – нищая деревенская постель, укрытая овечьим вязаным одеялом. И керосиновая лампа мигает, тлеет. Светильник, древний лампийон.

– Как ты думаешь... – Он спросил то, что не должен был спрашивать. – Я останусь жив? Меня убьют?..

Она подалась чуть вперед. Ее приподнятые соски коснулись его торчащих под кожей ребер. Да, мощен и строен божественный царь бесконечных просторов, тысячу жен он имел и пятьсот чернокудрых наложниц. Ее прикосновение заставило его дернуться всем телом. Внутри него, как в светильнике, зажегся огонь. Продажная тварь! Она получает за это деньги! Деньги...

– Я не знаю. Я ничего не знаю, поверь мне. Если бы знала – сказала.

Он схватил ее в объятья. Он сам не помнил, как у него это вырвалось:

– Спаси меня! Освободи!

Она легко потрогала губами его потную ключицу.

– Но тогда убьют меня. Доктор Касперский сначала поимеет меня, потом выстрелит мне в живот, потом в рот. Он сам так сказал. Он знал, что ты меня об этом попросишь.

Он изругался вслух по-русски. Потом добавил по-английски: *fucking mother*. Хрисула кротко заглянула ему в глаза. Потом нагло просунула руку ему между ног.

– Мы теряем время, профессор. Я же вижу – ты хочешь меня. Зачем людям притворяться.

Он застонал, весь искривился, с силой, преодолевая невидимое страшное препятствие, будто толкал телегу, отшвырнул ее от себя.

– Затем, что если б люди совокуплялись под каждым забором, Бог бы совсем отвернулся от земли. Я же здесь истязуемый! И ты приходишь сюда по приказу истязателей! Где же тут наслаждение, Хрисула! – Он уже хрипло кричал, не сдерживаясь, как пьяный. – Где же тут удовольствие! Или ты машина! Ты механическая кукла! Ты просто классная проститутка, и тебе все равно, кто движется в тебе, кто насаживает тебя на себя, под какой лавкой ты раздвигаешь ноги!

Она опять подалась к нему, к его искаженному лицу. Ловила его за руки. Ее пот, смешавшись с растекшимся по телу розовым маслом, ударил ему в ноздри.

– Ты думаешь, я только раздвигаю ноги, да... да, я действительно их раздвигаю... я раздвигаю их всю жизнь... всю жизнь!.. и это меня Бог создал такой, да, такой... а зачем же он

меня такой вот создал, а?!.. за мои грехи?!.. но ведь я была маленькой хорошенькой девочкой, я не грешила, я ходила в школу, я вышивала и вязала, я любила маму и бабушку... я не хотела раздвигать ноги перед каждым, слышишь?!.. мы никто этого не хотим!.. но так получается, так все выходит, так...

Она поймала его руку, не выпускала. Он сжал ее руку до хруста. Вспомнил, как сжимал ее руку в поезде. Она опять положила ему другую руку на потный, поджарый живот, ощупала напряженные до боли мышцы, прижала ладонью. Он застонал.

– Это невозможно... так же нельзя, Хрисула... что ты делаешь...

Она встала на колени перед ним. Он положил руки ей на плечи, потом, сжав обеими руками ее виски, отодвинул от себя ее голову, ее жаждущие, протянутые, продажные губы. Она в ярости хотела встать, ударить его по щеке – он это понял, почувствовал, как напряглась, готовая взлететь, ее смуглая рука; он опередил ее, упал на колени рядом с ней. Два голых человека на коленях друг перед другом. Ее черная юбка разлетелась в стороны – искусный разрез, браво портному. Он видел, как блестят на черных курчавых волосках между ног капельки влаги.

– Я хочу тебя, – прохрипела она ненавидяще, – а ты не...

– Я не оскорбляю тебя. – Он положил ладонь ей на рот, заклеив его, готовый вытолкнуть крики, ругательства. Она сперва укусила ладонь, потом поцеловала. – Я хочу тебе помочь. Я хочу... я не знаю, что... я хочу, чтобы все было не так!.. не так... ведь есть же, есть же, в конце концов, Бог, так опоганенный, так... – он подыскивал английское слово, – так оплеванный нами...

Она согнулась. Спина ее выгнулась голым живым колесом. Лопатки торчали беспомощно. Она зарыдала, упрятав лицо в ладони. Может быть, ее слезы – яблочный сок? Он погладил ее по загривку, как зверя – там, где торчал позвонок и дорожка золотистого пушка сбегала вниз по хребту между лопаток.

– Бог, Бог... – пробормотала она по-английски, потом добавила по-гречески: – Теос... Где пребывает Бог, когда на земле люди убивают именем Его?! Когда люди готовы удавиться за золото, как эти... мои хозяева... за мертвые, никому не нужные желтые слитки, на которые можно купить все, все, ты понимаешь, профессор, – все!..

Он взял ее голову в ладони, стоя перед ней на коленях. Заглянул ей в глаза, блестящие от слез. Синеватые белки светились. Соленая влага катилась по скулам, по подбородку. Он наклонился и слизнул слезу.

– Соленая, – прошептал он. – Как море.

Она рванула на себе юбку. Взяла его руку и положила себе на живот, горячий, как печка.

– Я сама как море... я вся прибой... хочешь – проверь...

Она стала целовать его, еле касаясь губами губ. Он целовал распухшие от слез губы, прижимая пылающий живот к ее продажному бедному животу, мгновенно и остро жалея ее, смертельно и жадно желая ее всю, сейчас, сразу, без остатка, и, кладя ее на холодные грязные половицы, не на утлое тюремное ложе, узкое, как долбленка, он подумал о том, что вот Бог, наверное, и есть любовь, если только *этим* люди могут сказать друг другу то, что не могут вымолвить языком; утешить и простить друг друга.

... ..

Ирена дождалась, пока Ежик заснет. Он долго ворочался на надувном матрасе, вздыхал, бормотал. Наконец она услышала его тихое сопенье. Бедный мальчик, он влюблен в эту красивую сучку. А она не преминула, загуляла. Укатила на всю ночь в Керчь с этим Гурием, с думцем недорезанным. Думают они в Думе, да мы их всех передумаем все равно. Они думают – они держат кормило власти. Ан нет, просчитались, господа. Его держим мы.

Вчера она ездила на тряском вонючем автобусе в Темрюк, поговорила по телефону с почты, запрятанной в недрах покосившейся мазанки, с мужем. Кайтох сразу все понял. «Кто сделал снимки?!» – рыкнул только. «Леон и Страхов», – быстро ответила она. «Возьми снимки у того и у другого. Спрячь. Укради маску у мужика, у которого она в палатке. Сделай все шито-крыто. Сможешь?!» Она услышала по голосу – он волновался. Может быть, даже курил, кусал сигарету. «Хорошо, – сказала она, судорожно глотая слюну, но голосом улыбаясь и успокаивая его, – я все сделаю, ты не должен беспокоиться». Никто никому ничего не должен. Маска должна быть у нее. И она должна переправить ее в Москву.

Она натянула джинсы и выползла из палатки. Полночь, чуть за полночь. Вега, Денеб и Альтаир льют синий свет на землю. Вега в зените. Звезды аргонавтов, созвездья Архипелага. Которая палатка этого... Прораба?.. Вот уж он точно Прораб, никакой не Князь. Она облизнула губы. Ей предстоит его совратить. Занятие не из приятных, ежели мужик тебе не по нраву. Лучше лететь в горящем самолете, чем ложиться под не нравящегося мужика. Что бы ей такое придумать, как оправдать ночной визит. Главное – ввязаться в серьезный бой, так, кажется, сболтнул Наполеон?.. Серьезный бой. Кайтох не вооружил ее напрасно. И еще здесь болтается эта поганая Моника. Белая вошь, английская ведьма. И с нее ей тоже надо глаз не сводить.

Она подошла к палатке Сереги и Егорова. Палатка была закрыта на «молнию». Ирена расстегнула «молнию», просунула голову в душную тьму. Тихонько позвала:

– Всеволод Ефимович!..

Нет ответа.

– Всеволод... – Молчанье. – Ефимович!.. Проснитесь!..

Неужели спят в такую рань?.. Утрудились.

– Всеволод...

– О Господи, – низкий, хриплый голос Князя Всеволода; слава Богу, он здесь, не пошел купаться на море, некому его соблазнять – эта вертихвостка-медсестричка укатила в Керчь с Жермоном. – Кого еще там...

– Всеволод Ефимыч, – Ирена постаралась вложить в голос неслыханную нежность и мольбу, – вы мне нужны. Я случайно... совершенно случайно... нашла... ну, я не могу вам здесь об этом говорить...

Князь Всеволод, потягиваясь, на ходу застегивая ремень, вышел из палатки.

– Что еще... ах, Ирена, простите, это вы... я не разобрал впотьмах, чей голосок ангельский...

Она взяла его за руку. Потянула за собой.

– Идемте, – бормотала она, – идемте... Я вам сейчас это покажу... такое... такое... я сама очумела, когда нашла...

– Да что такое?.. Еще одну золотую маску?..

– Лучше, Всеволод Ефимыч, лучше...

Она тянула его за собой все дальше, все властнее. Туда, в заросли степного вереска и тамариска. На ковер высохшей на солнце душицы. На самый край обрыва. Далеко от всех глаз и ушей. Он позволял себя вести, покорно, недоумевающе. Когда она обернулась к нему, он увидел, как Луна просветила голубым призрачным светом насквозь, до дна радужки, ее сумасшедшие польские глаза.

Когда он заснул здесь, прямо на берегу, утомившись в потной и сладкой любовной борьбе – она расстаралась вовсю, извивалась под ним, кусала его и царапала, садилась на него верхом, едва он просил пощады и передышки, снова начинала его неистово целовать, – она прокралась к нему в палатку тише мыши. Серега Ковалев сладко спал в спальном мешке, похрапывал. Ирена не разбудила его ни шорохом, ни звуком. Она сама себе казалась призраком. Пошарив под подушкой, под матрасом у Всеволода, она вытащила золотую маску. Сунула ее под куртку,

наспех накиннутую на голое мокрое тело. Тяжка ты, любовная работа. Кайтох и не подозревает, какими путями она добывает сокровище. Врешь, он подозревает. Он все прекрасно знает. Не лукавь.

Золото холодило голый живот. Нутро остывало от жаркого натиска. Женщина, утлый бочонок, продажный сосуд. На сколько миллионов баксов потянет эта железяка?! Ее дело маленькое. Ее дело – сейчас вернуться в палатку, быстро, не мешкая, собраться, упаковать маску в чемодан, оставить Ежику записку. Так же бесшумно прокрасться в палатки Леона и Страхова, нашарить пленки – она знала, пленки отсняты и у того, и у другого, лежат в футлярах в их логовах, где-нибудь в карманах курток. Страхов, воодушевленный, хотел мотануться в Темрюк их проявить и напечатать снимки. И идти, идти скорее, бежать. Выбежать на дорогу, на пыльный шлях. Голосовать. Сесть в первую попутную машину – куда угодно. До Темрюка. До Екатеринодара. До Анапы. До города, где есть железнодорожный вокзал.

... ..

Ах, щетина, щетина. Мягкая ты моя, свинячья ты моя щетина. Бритва тебя не берет, только ножницы. Да и выгодно, экономно – лезвия не надо все время покупать.

Почему он назвался Леон? Он и сам не знал. Под американца канал. Под Запад. Длинноволосик, то ли бывший рокер, то ли тоскующий хиппарь, а может, и скинхэд, а может, и рэпер; то ли инструктор, то ли фотограф; то ли проходимец-прихлебатель, однако держится надменно, и никогда не отлынивает от дежурства по кухне. Славка Сатырос его обожает, и он, подражая ей, тоже ходит в тельняшке. Два полосатика, две штопанных обтрепанных зебры. Варят в котлах каши, мешают супы поварешками. Светлана меньше всех знала, отчего он – Леон. Леон ведь это «лев» по-латыни... или по-гречески?.. Ты не полиглот, Светлана, ты спятила от жары и работы, ты не глядишь в сторону сволочи Жермона, ты хочешь покататься на лодочке, искупаться в море вечером. Вот он подходит к тебе, длинноволосый придурок Леон, и взгляд его рассеян, и что он от тебя хочет?.. а хочет он от тебя, чтобы ты покаталась с ним на лодке, чтобы вы сели в надувную резиновую лодку и покачались на волнах, и он смастерит удочку и вы, быть может, подергаете бычков. Он угадал твое желание. Так как, Светлана?.. Никак, Леон. Я устала. Я не хочу на лодке. Буду лежать под кустом крыжовника, где пасутся Быча и Козя, а ты мне собирай крыжовник да скармливай, руки шипами коли.

Она все-таки пошла с ним кататься на лодке. Длинноволосик молчал, а море ее убаюкало. Она растянулась в лодке, легла на резиновое днище, потом свернулась калачиком. Она не боялась Леона. Хиппарь, спокойный, как слон, он никогда не полезет, не лапнет. Вот он сидит на носу лодки, забрасывает в море леску с грузилом. Ничего не клюет. Рыба спит. Рыба хитрая. Рыба хочет жить. Светлана погружалась в дрему, закатное солнце целовало ее веки. Князь Всеволод сказал – завтра должен бы уже прилететь Задорожный. Вот ему-то радость будет, золотая маска. И кто ее нашел?.. Ежик, славный Ежик ее нашел... Как припекает, даром что вечер... спать, как хорошо спать...

Лодку слегка покачивало на волнах. Золотое море мурлыкало Светлане колыбельную. Леон пристально смотрел на странную, длинную царапину, еще незажившую, видную из-под короткой пляжной юбки, тянущуюся от колена вверх по бедру, будто зверь провел, играя, острым когтем.

– Всеволода убили!

С перекошенным лицом Славка Сатырос бежала от края обрыва. Она делала отчаянные взмахи руками – звала за собой. Слова у нее кончились. Она мычала, ревела, как корова, показывала рукой туда, в сторону моря. Поднимался ветер, резкий ветер. Мял и трепал палатки. Если ветер поднимется еще больше, палатки сдует, унесет в море, разметет по сухой земле.

– Что, что такое, Славка?!.. что городишь ты...

– Да там он лежит! Там!.. Ночью пошел, может, покурить... а на него напали... нет, не местные это... местные не будут... это заезжие бандиты... я нюхом чую... а-а-а!..

Люди бежали к обрыву, не чувствуя под собой ног. Море накатывало буйный, белопенный прибой. Выбрасывало на берег комки водорослей, спутанных, как перекасти-поле. Князь Всеволод лежал там, где лежал ночью, так и остался вечно спать, обессоченный любовью, – животом на земле, спиной вверх. На его голой спине переливалась темной запекшейся кровью, зияла страшная рана, нанесенная камнем. Ножом так не бьют. Кости, плоть были крепко разможжены; судя по всему, ударявший бил сколом гранита, острым булыжником, как древним рубилом. Люди искали глазами вокруг. Окровавленный камень валялся поблизости. Убийца даже не удосужился бросить его в море.

Люди стояли около мертвого тела в смятении. «Светлана!.. Где Светлана!.. Быть может, еще можно помочь... Она же медсестра, подскажет...» Когда она склонилась над ним, она поняла – он уже похолодел, и не было ни пульса, ни дыхания. Она велела принести миску с водой, побрызгала ему в лицо. Нет, не шевелится, не дышит. Она поднялась с колен. Обвела всех невидящим взглядом.

– Не надо перевязывать рану, – прошептала она беззвучно стоявшему с бинтом и пузырьком йода в руках бледному Сереге. – Все кончено. Это смерть. Она очень простая, смерть. Каким гадам понадобилось...

Она не смогла договорить. Зажав рот рукой, побежала прочь. Все смотрели, как она бежит по обрыву, как, взмахивая руками, сбегает, скользит по сухой земляной осыпи вниз, к шумящим соленым волнам, к предгрозовому буйству широкой воды. Так, с зажатым ртом, она и зарыдала, глядя высветленными глазами далеко в море. Она видела много смертей в больнице. Она хоронила бабушку, отца. Но то были тихие смерти, *свои*. Убийство она видела впервые.

... ..

Ему не завязали глаз. Его катили по ночной автостраде с незавязанными глазами – все равно он не знал дороги, не знал местности, а если б и знал, не узнал бы ее ночью, когда все кошки серы. Его везли в машине молча, и молчанье тюремщиков обдавало его злобой. Он понимал, с каким бы удовольствием его убрали... убили, называя вещи своими именами, Роман. Однако он был им нужен – он это тоже понимал. Им было нужно, чтобы он жил. Чтобы он что-то делал. Что? Он был тупой, он пытался догадаться, скрежеща зубами. Они отдали ему все рисунки и описанья, скопировав их. Они не отвечали на его то яростные, то ледяно-надменные вопросы, что он задавал и по-русски, и по-английски. Они будто оглохли и онемели. Ахсан, Ахат и этот фарфоровый тушканчик. Куда они везут его?.. Руку на отсечение, в аэропорт. Его кейс при нем. Его паспорт, с билетом на самолет внутри, при нем. Билет с открытой датой.

Да, так и есть. Громадная светящаяся надпись: «ISTANBUL» – вынырнула из смоляного ночного мрака. Стамбульский аэропорт, старик, поздравь себя. Они оставляют тебя живым, эти мерзавцы. Они забрасывают его в самолет, вышвыривают из Турции. Он все равно узнает, кто они. Восточные чернявые парни – так, шелупонь, шестерки, овчарки. Этот фарфоровый, восковой красавчик, так любящий играть револьвером, как младенец – погремушкой, рангом повыше. Заметно по манерам. Вспомни, Роман, видел ты его в Москве?.. Нет?.. И где?.. У него слишком запоминающееся лицо. Лицо мраморного греческого божка. Если бы такая ходячая статуя появилась в его московском окружении, он бы его точно запомнил.

В черном небе завис гул самолетов. Грозный небесный рык, ночное рычанье Великого Льва. Далеко разносился мелодичный, сладкий, как рахат-лукум, голос дикторши, объявляю-

щей рейсы. Красавчик разлепил изогнутые сердечком губы, соблаговолил заговорить, поворачивая голову к Задорожному, не отрывая рук от руля.

– Аэропорт, профессор. Надеюсь, тебе у нас понравилось. Надеемся также, что и тебе понравились наши причиндалы. Ты не забудешь их?.. «Не забуду мать родную», все правильно. Если тебя станет тошнить в небесах, не забудь про пакетик. Он в сеточке на спинке переднего кресла. Вообще ничего не забудь. Пей глюкозу от склероза.

– Издеватель, – процедил Роман сквозь зубы. – Я найду тебя в Москве.

– Руки короткие, ваше-ство. Обдумай все, что ты видел и слышал. Захочешь что-нибудь сделать – сделай. Мы не будем препятствовать. Мы поощряем всяческие инициативы своих подопечных. Не вздумай подключать к поискам нас, грешных, ФСБ, угрозыск, бездарную милицию и тому подобные иерархии. Наша пирамида будет крепче. Мы замочим тебя вместе с твоей ФСБ. Надеемся, что ты и это понимаешь. Ты ведь ученый. – Он выдохнул, как выдыхают табачный дым, – и добавил презрительно: – Ученый кот. И ходишь ты по цепи. А к дереву тебя...

Он, не снимая с руля руки, другой рукой вытащил из кармана рубахи зажигалку и пачку сигарет. Ловко вытянул сигарету зубами из пачки. Щелкнул зажигалкой. Заглотал, как уж молоко, сизый дым.

– ...мы привязали.

Фарфоровый затормозил у парапета, на стоянке. Салон машины уже наполнился едким дымом. Что за дерьмо он курит, этот фанфарон. Задорожный крепче сжал в руках кейс. Они... будут сопровождать его до самой регистрационной стойки?..

– Выходи. Финиш. Игра стоила свеч.

Он вывалился на асфальт. Подхватил кейс под мышку. Драгоценные рисунки, они там, внутри. Они разрешают ему увезти их с собой в Москву. Абсурд! Проще было бы отобрать. Зачем они оставили ему материалы?.. Ну да, без фотографий никто все равно не поверит, скажут: иди гуляй, профессор Задорожный, со своими рисуночками, может, они тебе приснились, как Гойе – «Капричос».

Восточные усачи молчали в темном бензинном нутре машины. Фарфоровый осклабился. Роман стоял с кейсом под мышкой, испепеляюще глядел на него.

– Запомнишь керосиновую лампу, док?.. не правда ли, романтика?.. а Хрисулу, а?.. Сознайся, ты предлагал ей помочь тебе бежать?.. Скажи, а здорово она...

Самолеты гудели над головой. Взлеты, посадки. Люди перемещаются по лику земли. По лику многострадальной Геи.

Задорожный крикнул:

– Заткнись!

– Что орешь, профессор. Хочешь, чтобы полиция подвалила?.. Я скажу, что ты голубой, что приставал ко мне и к моим друзьям в машине, когда мы подвозили тебя до аэропорта. Я, в отличие от тебя, ученый лемур, знаю турецкий язык. Поверят мне, а не тебе. Танцуй потом на таможне. Билет у тебя с собой. В твоём паспорте. Ты уже сам сто раз поглядел. Ближайший рейс на Москву...

Он вскинул запястье к глазам. Задорожный все еще не верил, что фарфоровый отпускает его. Вот он повернется, пойдет к стеклянным дверям аэропорта, а фарфоровый возьмет да и выстрелит ему в спину. И ни люди, ни Бог уже ничего не сделают. Он пойдет, а эта сволочь выстрелит... кровавое пятно на рубахе... крики публики... Вечный, горячо аплодирующий амфитеатр, театр смерти.

– Как раз полетишь. Мы подгадали. Даже ждать тебе не придется. Привет Москве. – Фарфоровый показал еще раз ровные белые зубы. – И помни, док, осторожность и еще раз осторожность. Будь умницей. Мы следим за тобой. Береги свою драгоценную... – он похабно

повел вверх губой, обнажая клык, – жизнь. Она стоит теперь много мешков баксов. Ступай, седой граф! Не кашляй!

Он сделал Роману ручкой. Роман едва удержался, чтобы не ударить его. Фарфоровый повернулся кожаной спиной, передернул плечами, полез в машину. Не торопился заводить мотор. Ждал. Он ждал, пока Роман сдвинется с места, пойдет, войдет в аэропорт. И Роман пошел. Пошел сначала медленно. Потом все быстрее, размашистее. Прижимая черный кейс к исхудалому боку, к торчащим под пиджаком, под рубахой ребрам. Ночь была жаркая, влажная. Когда он вошел в здание аэропорта, он почувствовал, что его рубаха насквозь мокра. Никто не выстрелил ему в спину.

Они требовали датировки ценностей.

Они требовали от него точной датировки ценностей.

Они кричали ему: «Нам достаточно и сорока веков!..» Он брал в руки браслет, маску, перстень с рубином, и руки его дрожали. Он пытался им объяснить, втолковать. Он шептал: как вы не понимаете, эти вещи старше, много старше, да, я вам говорю, они старше намного, это допотопная древность, это... иная цивилизация... нужен радиоуглеродный анализ, нужны приборы... исследования, замеры, комиссии... тогда я могу назвать точную датировку... Девятый век до новой эры?.. Десятый?.. А может... еще древнее?..

Они перемигивались. О, это будет дорого стоить. Это потянет черт знает на какую кучу долларов. Никакой Рокфеллер не купит. Пуп надорвет. Тогда эти железки, выковыранные из турецкой земли... бесценны?!..

Бесценное в мире есть. Да, есть. Да не про вашу честь. А про чью?! Про чью?!

Самолетный гул залеплял уши. Он перекачивал голову по мягкой кресельной спинке. Его и вправду тошнило. Как бы не понадобился пресловутый пакет. Он снова закрыл глаза. Уснуть, уснуть. Уснуть... это ведь – на миг – умереть...

Он судорожно разлепил веки. Внизу, в иллюминаторе, высились снеговые горы освещенных резким белым солнцем облаков. Под облаками густым сапфиром просвечивало море. Грозный, яркий Понт. Корабли плывут по нему во все концы, как плыли встарь. Моряки борются с волнами. Жены и возлюбленные ждут их на суше. Разница в том, что он смотрит сейчас на море с высоты, будто он – божество, а земли все открыты, ничего неизведанного, тайного нет. Все тайны остались лишь во Времени. Время – вот неоткрытая земля. Вот новая планета. На нее высаживаются только такие безумцы, как он.

Его брови сошлись подо лбом угрюмо. Морщины глубже прорезались около рта. Его никто не ждет дома. Никто. Ни жена, ни дети, ни собака, ни кошка, ни птичка. И возлюбленной у него нет. Нет даже и гетеры. Он вспомнил запах Хрисулы, ее волос и губ, капельки розового масла на ее груди. Он спал с рабыней, и он не спас ее, не выкупил ее. Ни одного облога не осталось у него за душой. Пятьсот долларов фарфоровый с удовольствием прикарманил. Надо позвонить из Москвы бедным турецким управленцам, попросить, чтобы забрали вещи из отеля и переправили ему почтой или оказией; банковская карточка в пиджаке, револьвер...

С дипломатической почтой можно переправить любое оружие, хоть лазерное, хоть ядерное... Турецкие поросята найдут способ... Он вынужден сказать им по телефону хотя бы о гибели Кристофера Келли... а больше и ничего... не надо ничего говорить... пока надо молчать, молчать, сцепив зубы...

Море ударяло под ребро синим острым мечом света в прогалах облаков. Самолет летел ровно, не кренясь на крыло, облачные сугробы вздувались и таяли, разбегались смешными барашками. Пена. Морская пена. Прибой нахлынет и отхлынет. Биенье времени. Что ты так переживаешь, Роман, и ты умрешь. И все умрут. Прибой слижет все рисунки на песке. Так что ж ты так бьешься, что ж тянешь из моря Времени свой жалкий невод?!..

Странник долетит до Москвы. Потом – до Симферополя. Или до Екатеринодара. И – на перекладных – туда, в Тамань. Он бросил экспедицию. Это негоже. Не Бог знает что можно раскопать в Гермонассе, там раскоп старый, уже все повищено, что можно. Но он взялся за гуж.

Гул высверливал в черепе дырочку, как в золотой, в той маске царя. Как он на него похож. Мать говорила, что одна из ее бабок была турчанка... или гречанка?.. Она забыла ее имя... Где-то в бесчисленных бумагах завалился старый дагерротип... Гул, гул... спать, спать. Им достаточно сорока веков. Ему достаточно и часа крепкого, без сновидений, сна.

... ..

– Ежик, где мать?..

– Не знаю. Уехала.

Сергея Ковалев остался в лагере за старшего. Он стоял напротив Ежика и пронизывал его глазами. Как так! Уехала и сыну ни слова не сказала!

– Когда?.. Почему я ничего не знаю?.. Она же работник экспедиции...

– Я ничего не понял. Ночью. Я проснулся – вижу записку на книжках.

– Записка у тебя?..

Ежик наморщил лоб, замялся, покраснел. Веснушки залило розовой зарей.

– Нет... да... я поищу... или нет... да, точно нет... Я вспомнил. Я ее потерял. Я, когда читал, вышел из палатки, и у меня из пальцев ее вырвало и ветром унесло.

– «Ветром»! – передразнил его Сергей. Русые, с проседью, буйные волосы Сергея курчавились надо лбом, как руно у барана. Он сунул в них пятерню. Сморщился. – Что маменька, что сыночек!.. Откуда только вас таких Задорожный набрал... Правда, это ведь ты золотую голову нашел, ну, извини... это ветер и виноват, значит. Что в записке-то было?

Ежик потупился. Напрягся.

– «Срочно уехала в Москву, говорила с папой по телефону, плохо с бабушкой, вернусь при первой же возможности», – процитировал мальчишка. – Вроде бы так... ну, еще там «целую, мама»...

– Н-да, – помял рукой подбородок Сергей, – бабушка занемогла, это, брат, дело серьезное... Ну, она ж не может не поехать к матери, если та при смерти. Смерть настигнет внезапно и не спросит. Вон как Князя...

Сергей повернулся и пошел в палатку. Ежик стоял на ветру. Его рубаха отдувалась, как парус. Сегодня он так и не поговорил с прелестной Светланочкой. Она молча работала в раскопе, мыла черепки в тазу, не поднимая глаз. Потом ушла к себе в палатку и закрылась, не вылезает. Она все плачет, оплакивает бедного Всеволода Ефимовича. Егорова похоронили тут же, рядом с раскопом, на обрыве, насыпали могилку, поставили крест из самшита – Сергей срубил. Никому решили ничего не сообщать. Егоров жил один, родни у него не было никакой. Старый симферопольский археолог, экспедиционный волк. Давно работал с Задорожным, раскапывал с ним скифские курганы, мотался на Амур, к гольдам и нивхам. Он умер в работе, как актер на сцене. Да, вот горе Задорожному будет. А разбойников этих не поймают уже за хвост. Камнем пропороли спину – и ищи-свищи.

Ежик сел на сухую теплую землю, обхватил колени руками. Тихо... Лишь прибой шумит внизу, под обрывом.

И вдруг он услышал голос. Кто-то пел песню. Женщина. Далекий голос пел и плакал, потом песню разрывало надвое молчанье, потом мелодия возобновлялась, и река песни текла дальше, втекала в широкий простор моря и неба. Кто поет?.. Славка Сатырос?.. Она пела украинские песни у костра, Ежик помнил... «Ой, на горе тай жинци жнуть, а по-пид горою, по-пид

зеленою козаки идут!.. Козаки идут!..» Нет, это не Славка. Какой сильный голос! Он летит над морем. Тает в вышине... Песня обрывается, будто женщина плачет...

Ежик прошел мимо свежей могилы Князя Всеволода. Украдкой потрогал самшитовый оструганный крест. На поминках пили водку, Серега привез из рыбсовхоза целый ящик, и Ежик впервые в жизни пил водку, благо мамы рядом не было. Он видел, как Жермон тяжело глядит на Светлану. Он заревновал. А Светлана на него не взглянула ни разу. Она выпила свой маленький граненый стакан водки, утерла губы рукой, закрыла глаза, и Ежик увидел, как по ее загорелым щекам текут светлые слезы, и ему захотелось собрать их губами. Если б он был маленькой птичкой, она бы могла взять его в руку... посадить себе на грудь...

Он вышел из-за скалы – и увидел внизу, под обрывом, на песке, Светлану. Она сидела на вымытой морем, обдутой ветрами белой, как кость, коряге и пела. Она пела, закидывая голову, посылая голос вечной синеве, забирающей в объятия всех равно – и живых, и мертвых. И голос лился и дрожал, звенел и мерцал, как звезда. Как первая звезда, взошедшая над морем над головами юноши и девушки, еще не знающих, что такое любовь, но предчувствующих, что потребует она крови и жизни.

... ..

Тряские русские поезда. Корявые, век не отремонтированные железные дороги. Грязные прокуренные вагоны. Дырявое белье – даже в фирменных составах. И теперь проводницы, если им пассажир сунет в лапу денежку, разрешают в поезде и водку пить, и все пьют, и едят вечные вареные яйца, макают их в соль, рассыпанную на газетке, и режут сало, и хрупают огурцами, и чистят вечную воблу, прихлебывая пиво, и ведут тяготомные разговоры, и разгадывают гадкие кроссворды. Дорога – пытка. Сутки, всего лишь сутки до Москвы. Ну, чуть побольше. Ну потерпи же, Ирена!

Рядом с ней попутчики резались в карты. Восточные мужички, татарского вида. Все россияне татароваты, по всем прошлась борона Чингисхана. Даже до Польши, до Литвы татары добрались. Кайтох говорил – у них в роду татары есть; там, в древности, так смешались крови, что теперь из солянки маслинку не выкинешь... Они приглашали ее поиграть с ними: что скажешь, красавица, давай, присоединяйся!.. Она отворачивалась. Глядела в окно. Как медленно стучат колеса. Если они хвятились маски, все, ей несдобровать. Ее сцапают на первой же крупной станции.

Но, о счастье, они проехали уже и Белгород, и Орел, вот уже и к Курску подъезжают, и ее никто не снял с поезда, значит, никто не обнаружил пропажу, а эти, картежники, все режутся, им все нипочем – ночь-полночь, охота пуще неволи, игра пуще дороги. Бессонные. Она засунула руку в карман плащовки – в вагоне, несмотря на дневную жару, холодало к ночи, – пощупала футляр с пленками. Ей удалось стянуть обе пленки. У Страхова и у Леона. Как крепко все же спят мужики. Баба бы давно проснулась, если бы у нее в палатке в вещах кто-то шарил. Или это она такая техничная. Фокусник Кио. Да, ей уже в цирк пора. Когда-нибудь она убьет Кайтоха. За эту жизнь. За эту собачью жизнь, которую она ведет. Слава Богу, Ежик еще ничего не знает. Но ведь узнает же он когда-то. Нет, скорей, скорей отправлять его в Англию. Пусть мальчик живет на Западе, учится спокойно. Они с Вацлавом все равно тут как на вулкане. Огненная лава сметет их в любой миг. И она к этому готова.

– Ребята, давайте ваши карты. Сдавайте. Сражусь с вами. Все равно делать нечего. И не спится. И... водки у вас нет?..

Широкоскулый татарин оживился. Мадам желает!.. Шчас все будет, краля, в лучшем виде. Он полез куда-то под лежак. Вынул початую четвертушку.

– Занавесь нас простышкой, вагон-то весь на просвет, все шастают, – бросил он такому же раскосому, нагло улыбающемуся другу. – И карты сдадим, и по маленькой нальем!.. Выигравшему или как?.. Всем сразу?..

– Всем сразу, и огурчик у нас есть...

Они выпили, зажевали разрезанный на куски свежий огурец, и Ирена почувствовала, как разжалась в груди сжатая когтистая лапа, сердце отпустило. Ей показалось все не таким уж страшным. Страшно жить, да. Страшно умирать. Пока мы не умерли – давайте сразимся в картишки, выпьем дешевой водочки, согреемся, поболтаем о хорошем.

Они бросали на стол карты, хохотали, шутили, татары цапали ее за руки, как медведи, широкоскулый наливал еще по рюмочке. Мужики не знали, что с ними играет в карты и хохочет, икая от выпитой водки, что рядом с ними в плацкартном вагоне скорого поезда номер сорок один «Екатеринодар – Москва» едет, румяная, чуть пьяненькая, да она еще не старая, а вовсе даже прехорошенькая, одна из богатейших женщин мира. И что в ее сумке, под вагонной полкой, – сокровище, за которое можно, если постараться, купить сам мир – весь мир, изгаженный, уцененный, не стоящий ни гроша из широкого кармана Бога.

Поезд прибывал в Москву утром. Курский вокзал, перрон. Так, взять такси, быстро домой. Она даже не будет звонить Кайтоху. Он в офисе. Черт с ним, пусть там и сидит до вечера. Вечером он все узнает. Она заслужила отдых. Она будет спать сутки без просыпу. А потом пойдет в сауну. И будет сидеть там над жаркими булыжниками каменки до той поры, пока все в ней не прокалится сначала докрасна, потом добела, как в кузнечном горне.

Она подкатила на машине к особняку на Каширском шоссе, расплатилась с водителем. Прищурилась, глядя на дом. Да, мой дом – моя крепость. У них не дом, а просто дворец в Виндзоре, Сан-Суси, Грановитая палата. Кайтох нанял лучших архитекторов. Он расстарался для нее и Ежи. Она старается для него и для Ежи тоже. Значит, все справедливо?.. Она подхватила сумку. В этом мире в любви и в добыче каждый старается для себя.

Когда она зашла за ажурную чугунную решетку и закрыла за собой калитку, любуясь заботливо подстриженной садовниками июльской травкой, ее кто-то тронул за локоть. Она резко обернулась. Армандо Бельцони. Этот итальяшка. Сколько уже он насолил Кайтоху. Почему Вацлав не уберет его с дороги?.. Жалеет?..

– Буона сера, каро, – не слишком любезно проронила Ирена. – Ты тут меня, что ли, ждешь?.. Откуда ты знаешь, что я должна была приехать?..

Она осеклась. Моника. Ну да, Моника. Она же осталась там, в лагере. Она следила за Моникой, а Моника – за нею. Пока Кайтох вожжается с Армандо, в их бизнесе порядка не будет.

– Прости, что встречаю тебя без духового оркестра, – насмешливо сказал Бельцони по-русски, чуть коверкая слова. За ваксовыми пятнами черных солнечных очков не было видно его глаз. – Недосуг было заказать. И без торта. Зато у тебя для меня есть золотой тортик. В сумочке.

Он протянул к сумке руку в черной перчатке. Ирена крепче сжала сумку, отшатнулась.

– Убери лапы! Я привезла *это* Кайтоху!

– Кайтох, Кайтох, – проворчал Бельцони, постукал себя черным кожаным пальцем по губам, улыбнулся. – Всюду Кайтох. Вечный Кайтох. Он мне надоел. Но я же работаю с ним в паре, деточка. В одной упряжке. Отдать мне – все равно что отдать ему. Ты же знаешь это. Ты же умница.

В его веселом голосе она услышала: отдай сейчас же, не то я вытащу из кармана пушку, и ты ляжешь тут же, перед своим роскошным поместьем, на своей подстриженной по-английски, как пудель, изумрудной травке. А потом ляжет Кайтох в своем офисе. А потом ляжет Ежи. Там, в Тамани. Вы ляжете все трое. Вы отдохнете наконец.

Он сунул руку в карман. Его улыбка превратилась в оскал.

– Бельцони, – вымолвила она пересохшими, пустыми губами, – ты дьявол.

Он протянул руку. Черная кожаная пятерня растопырилась.

– Я жду.

Она, задыхаясь, поставила сумку на гравий ухоженной дорожки.

– Прямо здесь?..

– А почему нет. Все на виду. Меньше подозрений. Жена друга передает другу собственноручно испеченный пирог со свежими вишнями. Со свежими золотыми таманскими абрикосами. Они готовятся к пирушке.

Он подмигнул ей. Она выругалась грязно.

– У тебя испортились манеры. Кстати, пирушка скоро. На днях. Из Турции доктор Касперский уже переправил все до золотой пылинки. Касперский – блеск, он всегда честно играет. Надо повысить ему оклад.

Она поняла: пирушка – большая подпольная распродажа. И они не боятся... здесь, в Москве?.. Как изменились времена. Раньше вывозили сокровища куда угодно – в Нью-Йорк, в Сан-Франциско, в Париж... Теперь магнаты нагло собираются в Питере и Москве. Никто ничего не боится. Верней, страх дошел до отметки, где он превращается в вызов. Когда перейден болевой порог, уже нет боли, так она велика и безумна.

Ирена наклонилась к сумке. Расстегнула застёжки. Откинула кожаный язык.

– Бери.

Он склонился, вытянул жадные руки.

– Этот сверток?..

Она кивнула. У нее пересохло в горле. Очень может быть, что Кайтох больше не увидит золотую царицу.

– Ты гад, Бельцони.

– Не гае тебя. У тебя фотографии?..

– У меня пленка.

– Давай сюда.

Ирена порылась в кармане, протянула ему футляр с пленкой Страхова. У нее в кармане оставалась пленка Леона.

Вороби прыгали по подстриженной траве, чирикали, выуживали невидимых червячков. Ирена ощутила во рту горечь. Когда они резались там, в поезде, в карты, последний кон, пан или пропал, ей в конце игры выпал туз пик, и тот татарин, широкоскулый, обнажая щербатые широкие, лопатами, зубы, сказал: «Ударят тебя, краля, чугуном по башке!..» дождалась.

Она молча повернулась, подхватила сумку, пошла в дом. Поднялась, шатаясь, по бело-мраморной лестнице. Все вокруг молчало, давило роскошью. Она прошла к себе в спальню. Не раздеваясь, бросилась на кровать. Застыла. Бельцони урвал самый лучший кусок с пиршественного княжьего стола. Бельцони не может без этого. Она попросит Вацлава, чтоб он Бельцони убрал. Она измучилась. Она вся трясется. Она загремит в больницу с инсультом.

Когда Кайтох вошел в спальню, она вся уже корчилась в невыносимых рыданиях. Ее выворачивало наизнанку. Она каталась по постели, кусала подушку, рвала и царапала одеяло, выгибалась, захлебывалась слезами, билась головой об стену. Кайтох ринулся к ней, схватил, крепко сжал. Она вырывалась, кричала, визжала.

– Успокойся! Успокойся, прошу тебя! Да успокойся же, Ирена!

Она билась в его руках, как рыба, вытащенная из моря.

– Я не удержала... не сумела!.. он бы... убил меня... убил... убил, я знаю...

– Кто, что?!.. прекрати, говорят тебе...

Он грубо, больно встряхнул ее. Она икнула, поперхнулась, на миг перестала рыдать и выть. Ее глаза из-за спутанных волос блестели слезными белками, бессмысленно глядели на Кайтоха. Парадный портрет отчаянья. Ну, да его жена и раньше, бывало, закатывала истерики. Но чтоб такую... по всем правилам...

– Что стряслось, Ирена?!

– Он забрал ее у меня... за... брал...

Она снова захлебнулась в рыданиях. Упала головой в подушку. Кайтох глядел, как ее спина судорожно дрожит, как ходят под рубашкой лопатки. Забрал. Кто и что у нее забрал?.. Плачет. Значит, взяли дорогое. Самое дорогое. Самое... ну да...

– Бельцони?! Маска?!

Он представил, как на этой дрожащей узкой спине под рубашкой расплывался бы не пот, а красное кровавое пятно. Бельцони прострелил бы насквозь его жену, и не охнул бы. Он убивает весело, с итальянским шармом. Того монаха, ламу, он сам убил, Кайтох теперь понял.

– Да, да, да, да... да, проклятье!..

Она завертела головой, забилась на мокрой от слез подушке. Кайтох стал холоден как лед. Глаза его сузились. Он подобрался, как волк в лесу зимой пред прыжком.

– Ты не отдала ему пленки?!

– Отдала... одни... другие – возьми... в кармане... в куртке... вот здесь...

– Ты, дура моя, не плачь... благодари Бога, что осталась жива, что этот макаронник не продырявил тебе ребра... а он мог, я знаю его... он от меня далеко не убежит с этой маской... я...

– Ты, ты!.. Всегда только ты!.. Все!.. К черту!.. Надоело!.. Катитесь вы все!.. Уеду!.. Одна уеду!.. Куда угодно!.. На Мальдивские острова!.. В Швецию!.. В Америку!.. В твою Швейцарию!.. И буду жить одна!.. Разведусь с тобой!.. Ежик выучится, он уже взрослый... Только оставьте, оставьте, оставьте меня в покое!..

– Истеричка, плюнь, разотри... Я твоего Бельцони поставлю на место... – Его щеки лихорадочно горели. – В конце июля аукцион... Он не сможет никуда вывезти маску... он не захочет... Ну да, он вывалит, сука, свои условия... а это уж мое дело, пойду я на них или не пойду... у меня, знаешь, тоже есть ведь всякие пугачки... я его напугаю, Ирена, ну не плачь... ты и так много сделала... я тебя не виню...

Она села в подушках. Ее глаза выкатились из орбит, как у безумицы.

– Я ее больше никогда не увижу! – душераздирающе крикнула она.

И он понял: она больна. Она больна той же болезнью, что и он. Ржа наживы, рак алчности проник в нее, разросся в ней. Она уже не сможет жить без охоты за древностями, без созерцания вожделенных сокровищ, без их продажи, без буйства бешеных денег на счетах. Она будет все время хотеть их гладить, осязать, восхищаться ими, красть их в ночной крошечной тьме, биться за них. Он научил Ирену стрелять. Почему он не научил ее спокойно улыбаться, если стреляют в тебя!

– Увидишь. Брось реветь. Я обещаю тебе это.

Он оставил ее распростертой на постели, в слезах. Спустился вниз. Повертел в руках пленку, вынутую из кармана Ирениной куртки. Срочно проявлять и печатать. Касперский привез сокровища из Анатолии. Маска. Там тоже – золотая маска. Мужская. Царская. Если золотая маска, найденная в Тамани, и золотая маска, найденная в Измире, похожи – у него в руках открытие. Он этого ждал. Он этого хотел. Идиот Бельцони! Он его сделает, как мышонка! Мышеловка – у него в руках. И он поставит такой капкан, что зарвавшийся итальяшка будет хрипеть, плакать и просить прощения. Бессмысленные слезы Ирены. Их игра – мужская игра. Жаль только, что они не за живую бабу сражаются, а за желтые железки – не как те герои, тогда, в Трое.

С пачкой фотографий в руках он замер прямо в машине. Рядом с ним на сиденье лежал револьвер. Недавно он купил себе новую модель «беретты». Она устраивала его тем, что в ней помещалось много зарядов, можно было поливать того, кто сунется, не хуже, чем из автомата. Нет, Бельцони на него, живого, не полезет. Бельцони умный. Умный и хитрый, как змея.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.